ПЕРВАЯ КНИГА

МАНУИЛ СВИСТУНОВ

Как перейти поле

МАНУИЛ СВИСТУНОВ

Как перейти поле

РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

АРХАНГЕЛЬСК
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

84Р7
М24

Свистунов М. А.
М24 Как перейти поле: Рассказы. Очерки. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1986. — 108 с., порт. — /Первая книга/.

С $\frac{4702010200}{М\ 157(03) - 86}$ 14 — 86 84Р7

© Северо-Западное книжное издательство, 1986 г.

Рассказы

НАЗОВИ ЕЕ РОСИНОЙ!

«Здравствуй, дорогая моя Любочка, сказка-синеглазка!

Сейчас сижу в машине, дежурю. Пришли инженер с техником и рассматривают надпись на плоскости моего самолета, сделанную тобой: «Жду тебя!».

...Снова пишу после трудового дня. Девять часов вечера, только что пришел с ужина. Сегодня был горячий день. Сбили трех «фоккеров», но и нам досталось. Погиб Матвеев, подробности описывать не буду. У меня струей воздуха вырвало дверку кабины, вместе с ней улетел планшет.

Люба, ты только не волнуйся, когда я пишу о таких вещах. Сама недавно отсюда и прекрасно знаешь, что к чему.

Находимся на новой точке. Очень пригодилась твоя подушечка. Всегда беру ее в самолет, приятно думать, что ты со мной. Держал во сне на руках нашего маленького. У него уже прорезались зубки. Когда же это будет не во сне, а наяву? Передавай привет родным.

Крепко целую. Твой Николай».

«Нежный мой! — недопустимо медленно шло на запад письмо из далекой Читы. — Считаем дни. Считаем часы.

Из города уже многие эвакуированные уехали в родные края, и мы снова живем в двух комнатах. Мама говорит, что одна будет наша.

А я все вспоминаю наш добрый шалаш... Скоро нас будет трое. Николай Николаевич (я его мысленно называю так) весь в папу. Тоже во сне кого-то тузит. Наверно, будет летчиком. Так иногда ткнет, что разбудит.

Ты не переживай из-за нас. Родов я не боюсь. Береги себя. Шьем приданое. Ждем и верим.

Целуем. *Спасовы.* 25/II—45 г.».

* * *

На вечер отдыха собрался весь наличный состав эскадрильи. В столовой было жарко. Рыжий худой поляк с длинными сухими, как клавиши аккордеона, пальцами играл вальс «Березка». Девочки расшалились, как школьницы. В своих небогатых гражданских нарядах они скользили по неровному полу, увлекая кавалеров. Ребята взмокли. Лорду было, пожалуй, труднее всех. Воспитанный в семье интеллигента-коммуниста, разговаривавший с мамой на вы, сейчас он вынужден был на чрезмерно близком расстоянии вести свою партнершу Катеньку, держать руку на ее талии и чувствовать этой рукой мягкие изгибы ее тела. Он был строен и красив: широкие, всегда развернутые плечи, умный открытый взгляд, густые темные брови, светло-коричневые глаза, прямой, слегка утолщенный нос, абрис верхней губы точно соответствовал очертаниям спортивного лука. Все это в сочетании с именем Эдуард вполне соответствовало его прозвищу. Он готовил себя к научной работе, но война внесла свои коррективы в его планы.

Танцуя с Катенькой, он мучился одинаково сильно физически и морально. Лоб над переносьем бисерился капельками пота. С трудом переставляя ослабшие ноги, Лорд ждал конца танца и отвечал Катеньке, глядя в сторону.

— Ах, «Березка»! Ничего нет любимей «Березки». Так и хочется скинуть все это, — Катенька тряхнула плечом, — и бегать, валяться в траве, купаться в реке — в счастье!

— Я тоже люблю... любил, — поправился он, — купаться.

— Правда? Мы уговорим комэска... — обрадовалась Катенька.

— Когда? — спросил он, не глядя на нее.

— Весной, — сказала Катенька.

— Весной будет Победа. Полная, и мы...

Аккордеон умолк.

— «Ручеек!» — объявила ведущая. Все захлопали, засуетились, стали шумно, как школьники, строиться.

Полковник Сизов — Царь Небесный — утомленно пошел к столу, плеснул шато-икема, выпил и сел. Ему было сорок, и он по-доброму завидовал молодым. Но он не мог не думать о том, что, возможно, уже через какие-то часы кто-то из этих ребят уже никогда не вернется из полета.

Молодость! В нем самом все было молодо: взрывная сила, азарт и мужское озорство. Бывало, когда разговаривал по телефону с младшими по званию, вдруг неожиданно в конце разговора орал: «Как стоишь? Я тебя насквозь вижу. Ты кто: царь небесный или олух царя небесного? Левую руку под ремень! — секунду выжидал и: — Марш в столовую — и чтоб ногтя не подсунуть!» — и улыбался, довольный своей проказой. Каждый новичок у него оказывался в олухах, но быстро оперялся в орла.

Сейчас орлы Царя Небесного с топотом и визгом текли «ручейком».

Молодость! Ему в «ручеек» играть уже не хотелось. Он смотрел на девушек и понимал, что скоро снова прольются слезы и горе надолго захлопнет открытые женские души.

«Всем бы девчонкам уехать, думал он, как уехала Люба Спасова. Уехала и увезла еще одну жизнь... А где сам Спасов?» — он оглянулся.

— А где Спасов? — о том же спросила Катенька у Лорда.

И в это время вошел Спасов. На нем была не очень чистая манишка с воротником жабо, черный фрак и черный блестящий цилиндр. И только вместо штиблет торчали носки начищенных армейских сапог.

Все оторопело смотрели на выходца из прошлого века.

— Вольно! — сказал Спасов и засмеялся.

Аккордеонист заиграл краковяк. К Спасову подлетела Ирина Драгина, помощник начальника политотдела полка по комсомолу.

— Коля, как Любочка? Пишет? Здорова? Не родила? — вопросы вылетали в такт музыке. Она решительно держала руки Спасова своими маленькими, но удивительно крепкими пальцами. Сегодняшний вечер был для нее «мероприятием», она единственная из девушек была в форме, и это, считала она, давало ей право на прямые вопросы.

— Родила! На руках держал! Зубки прорезались! —

тоже в такт музыке отвечал Спасов с широкой улыбкой, поправляя цилиндр.

Ирина не ждала такой ерунды в ответе: что он, свихнулся? И не успела обидеться, как он добавил:

— Сам видел. На днях. Во сне!

* * *

...Когда Спасов прибыл в сто четвертый Краковский истребительный полк, ему велели принять «двадцатку» — истребитель с несколькими заплатами на фюзеляже и крыльях. Механик доложил, что машина готова к вылету.

У пулеметов возился невысокий оружейник и чисто женским голосом напевал:

«В этот час ты призналась, что нет любви...»

Эта томная мелодия так не вязалась со всем окружающим, что Спасов обозлился.

Он резко повернулся, чтобы одернуть певца, и увидел кудри русые, улыбку мягкую, девичьи веселые глаза. Тактику пришлось менять на ходу.

— Старший лейтенант Спасов! — строго представился он.

— Младший сержант Спасова... — козырнула девушка и, чтобы как-то отделиться от него, добавила: — Люба.

Спасова? Он сконфузился, замялся, и в смятении подумалось, да, подумалось сразу, а сказалось после многих боевых вылетов:

— Тебе, Люба, очень бы удобно было выйти за меня замуж, не надо фамилию менять.

— Война идет, а он — замуж! — сказала она.

...Свадьбу справили шумную. Полковник Сизов — Царь Небесный, летавший ведомым у самого Покрышкина, самочинно представлял родителей обеих сторон и щедро выделил молодым жилплощадь — палатку-шалаш вблизи общежития летчиков на самой опушке леса.

До свадьбы они успели понять только главное друг в друге — надежность и искренность. Но единственным получался тот вывод, который и в самом деле для них был главным: они не могли не встретиться.

Люба шестого августа 1936 года в родной Чите на центральном стадионе «Динамо» встречала вместе со всеми прославленных героев-летчиков Чкалова, Байду-

кова и Белякова. В конце встречи в стайке девчонок в пионерских галстуках она взлетела на трибуну и, забыв наставления, звонко выкрикнула, повернувшись от микрофонов к гостям: «Тысячи пионеров желали бы присутствовать здесь, быть рядом с вами и пожать ваши руки! Мы гордимся вашим подвигом и клянемся быть достойными вас!»

Стадион не расслышал, но понял и зааплодировал. В ту пору все сердца кричали об одном: «Быстрее! Выше! Дальше!».

Летчики переглянулись. Чкалов пробурчал, сверкнув белками: «Я бы в летчики пошел. Пусть меня научат!»

А Люба в самом деле пошла. В мае сорок второго она стала курсантом Невинномысской школы младших авиаспециалистов. Потом с завистью и тревогой смотрела в небо, ожидая самолеты, подготовленные к бою и ее руками. Из ребят ей больше всех нравился Лорд. Но она и представить не могла, что может ему понравиться тоже. Это ей казалось невозможным.

Многие из девушек в этом возрасте имеют в воображении расплывчатый идеал предмета любви. Люба имела конкретный: Лорд. Красив, храбр, образован и награжден. Но она не связывала себя даже в воображении с Лордом, а Спасову, наоборот, и имя-то свое сказала, чтобы не только отделиться этим от него, а с лукавой надеждой на что-то хорошее. У него тоже, как и у Лорда, было тринадцать сбитых самолетов, но те же ордена сияли теплее, форма выглядела обношенней, прямые темные волосы рассыпались привольней, улыбка цвела добрее, небольшой нос казался гораздо симпатичнее.

Путь в небо он начинал с синяков, полученных в детстве при прыжках с трамплина у Каменного моста, с парашютной вышки на болотистом лугу Вологды, с многолетних бдений около аэроклуба под ротондой на теперешней улице Челюскинцев, а позднее — занятий в нем и на маленьком аэродроме за Прилуками.

В начале сентября сорокового года они с инструктором летели над высоким западным берегом Кубенского озера, над Березниками, над никому ничего не говорящим Дилялевом, над Новленским. Сильно трясло. Часто встречались «ямы». Продолжительное ненастье отступало широким фронтом. Туча тяжелым толстым валом катилась за озеро, в Заволочье, и там густо синела, освещенная холодным солнцем.

— Спасов! — крикнул инструктор.

— Что?

— Монастырь! Каменный! Смотри!

Спасов скосил глаза. Километрах в пятнадцати-двадцати слева по синей зыби волн плыл сказочный храм Спас-каменный. Он бликовал под солнцем, покачивался и скользил навстречу и мимо. Вдогон за ним из синей завесы выдвигался, увеличиваясь, квадратный парус устьянской церкви.

— Умели деды строить! — воскликнул Спасов и довернул. Инструктор понял и промолчал. Все равно надо было скоро заходить на посадку.

Внизу расплеснулось озеро. Оно еще ходило барашками, но успокаивалось особо приметно под западным берегом. От темного ствола фарватера причудливо тянулись по дну каменные гряды, песчаные косы и отмели, на поверхности струились нервные жгуты водорослей.

А справа уже вспыхнула золотом глава вологодской звонницы. Под крыло легло озеро... «Как росинка в лепестке», — подумал Спасов. Самолет разворачивался на посадку.

Позже, взлетая в Батайске и с десятков военных аэродромов, Спасов мечтал пережить тот же восторг, но увиденное над Кубенским озером уже нигде не повторилось, зато и жило в душе единственным, неповторимым образом Родины.

* * *

...Глаза Ирины выражали неотступную заботу. Несомненно, она была в курсе основ военно-стратегической обстановки и пыталась влиять на нее на своем невеликом, но стержневом посту. Тактика врага менялась. Боевых машин у него становилось все меньше. Но при наличии большого числа хорошо оборудованных аэродромов фашисты могли вылетать массированно, затемно преодолевать расстояние до наших аэродромов и скоплений войск и техники; днем пользовались услугами ослепляющего солнца; парами вылетали на вечернюю охоту, внезапно нападая на возвращавшихся с заданий наших ребят. А у тех, как правило, почти сухие баки и пустые патронташи. Но на врага не обижаются. Его бьют. Умело. Расчетливо. А наши порой зарываются. Вот в чем беда! Скорее, скорее! Будто от них только и зависит победа! Не все, конечно. Но большинство. У Лорда кон-

чился боекомплект в разгаре боя. Он стал выходить — быть бы ему сбитым! — но Матвеев хлестнул перед «фоккером» заградительной очередью. И подставился сам. А Спасов? «Зубки прорезались!» Костюм маскарадный натянул. Еще азартнее во всем. Этот и безоружный из боя не уйдет. Будет мелькать, путать, провоцировать врага...

Кончился ужин. Спасов уже был в форме. Костюм Онегина он снова аккуратно уложил в баул поляка. Тот всюду таскал с собой этот странный реквизит из разбомбленного театра. К летчикам поляк попал не случайно, а чтобы вернуть хозяину найденный им планшет, тот самый, который «выдуло» из кабины Спасова.

Он тихонько перебирал клавиши, и вдруг аккордеон издал такой пронзительно-чистый и долгий звук: та-а-а, что даже те, кто не слышал музыки Огинского, догадались, что сейчас прозвучит нечто значительное.

Спасов, счастливый тем, что получил, казалось, безнадежно утерянный планшет, в котором были письма Любы, и на радостях позволивший себе выходку с переодеванием, был захвачен музыкой полонеза. Он вдруг ощутил, что уже пережил однажды нечто подобное. Его память мгновенно воскресила картину: тяжелый вал туч, освещенных холодным солнцем, валится в Заволочье, встает непроницаемой синью, а из нее ликующе выплывают белый лебедь Спас-каменного и белый парус устьянской церкви. Тогда он не успел погрузиться в созерцание: уже виднелась посадочная полоса. Даже немалое озеро Кубенское мелькнуло перед глазами, оставшись в сознании росинкой в лепестке. Сейчас можно было не торопиться, и он весь отдался музыке.

Ирина точно оценила момент. Сама глубоко взволнованная, она поняла, что в такие минуты не может не высказать наболевшее.

Она сказала, что победа близка, но враг еще силен, изощрен, разнообразит тактику (она посмотрела на Сизова и уверенно продолжила), нападает исподтишка на наши беззащитные самолеты, возвращающиеся домой. И предложила, опять посмотрев на Сизова, не расходовать в разведке (только в разведке! — подчеркнула она) весь боекомплект, приберегать часть его на случай возможной встречи с противником. Она, конечно, залезала не в свои сферы, но понять ее было можно.

Все заговорили, обсуждая разные варианты. Царь

Небесный не вмешивался. Он знал, сколь мгновенны в бою решения и от сколь многих, даже неуловимых, причин зависят они. «Хорошо бы, хорошо бы». Но что-то в предложении Ирины ему не понравилось. На разборе он строго указал Лорду на то, что тот выбрал неудачный момент выхода из боя. На большее полковник не имел права, хотя внутренне был убежден, что летчик не должен бросать (да, бросать!) товарищей, если машина цела.

— Ограничители, что ли, на оружие ставить? — сыронизировал Лорд.

Спасов, раздраженный поступком Лорда и не смирившийся с гибелью Матвеева, немедленно возразил:

— А я пойду в таком случае даже на таран.

Девушки вскинулись в горячем протесте.

— Если, конечно, не будет других шансов, — пришлось добавить ему. Но эту фразу не услышали, да и слушать бы не стали. Наперебой приводили доводы, что теперь не сорок первый год, наше преимущество полное, спеси-наглости ой как убавилось у врага, обидно гибнуть на пороге Победы, зачем вести счет один к одному, если можно...

— Стыдно удирать от врага. Позор! — сказал Спасов.

Девушки возмутились: это не бегство, это военная хитрость, не только не возбраняемая, а поощряемая от века: наши самолеты лучше, индивидуальное мастерство выше. «Вы это немцам скажите!» — одинаково подумали Сизов и Спасов.

— Да о Любочке-то ты думаешь? А о сыне? — нашла болевую точку Катя.

— Да. И они помогут мне быть честным до конца! — от смущения немного парадно произнес Спасов.

Смущение в его голосе уловили. Оно как-то поуспокоило (не сейчас же на таран идти!) и сбавило пыл.

— Спать, наверно, пора, а? — поднялся Сизов. — Утро вечера мудренее.

— Кобыла мерина ядренее, — неожиданно вырвалось у Спасова.

Все засмеялись.

— Это у нас в Вологде так говорят, — начал оправдываться он, хотя и знал, что говорить-то говорят, но, конечно, не всегда, не всегда...

* * *

Лежа на койке, Спасов досадовал на себя. Сколько бездумных выходок в один день! И с тараном зря выскочил... Нет, все-таки не зря. То моральное превосходство, боевой задор, которые горели в глазах летчиков, необходимо было наращивать так, чтобы поджилки тряслись у врага, чтобы, еще садясь в машину, фашист знал, что обречен.

А смерть? А жизнь? Нет одной без другой. Нет!

Ему стало легче, и некая сентиментальная жалость, что ли, к самому себе, уже почти воображаемому, подсунула в сознание картину: Люба качает кроватку и поет их ребенку (он так и не понял, кто это: мальчик, девочка?) колыбельную. Но ни одной колыбельной он не знал. И это оказалось так тягостно, нетерпимо, что он вскочил, раскрыл планшет и задумался, но скоро начал писать.

Грустная, но напряженная мелодия выводила из памяти простые, нужные слова.

Твой отец был гордый сокол,
Я о нем спою.
В небе ясном и высоком
Службу нес свою.

Перечитал. Задумался. Поразило слово «был». «А, пусть, потом переделаю. Тут просто». И снова взялся за карандаш. Через час он потряс уставшей головой, собрал черновики и переписал начисто.

Молодой, с горячей кровью,
Полный свежих сил,
Он сыновнею любовью
Родину любил.
И, летая в небе синем,
Бил врага в бою
За росиночку России
Синеглазую!

Затем он аккуратно уложил планшет, лицо было мягким, довольным. Он лег, потом вскочил, вынул листок со стихами и крупно наискосок дописал: «А будет дочь — назови ее Росиной!», снова лег и мгновенно уснул.

Это послание Люба получила одновременно с другим письмом, в казенном конверте. Она сразу поняла, которое надо вскрыть первым, и все же попыталась

продлить надежду. Наконец превозмогла себя, аккуратно (вот каков бывает человек!) надорвала конверт.

«...ваш муж... смертью храбрых», — обрушилось на нее, подогнуло колени и погасило сознание.

Полковник Сизов ни слова не добавил от себя, только то, что положено, сообщил. Что положено. Молод он был, но мудр.

Это потом, в июле, перелетая на Дальний Восток, генерал Сизов найдет Любину обитель и, держа на обеих руках коконы с маленькой Росинкой и Николаем Николаевичем, будет рассказывать о последнем бое Спасова, беспомощно хлопая веками, чтобы загнать под них сочащиеся слезы, а на него будут смотреть отрешенная, забывшая о детях Люба, ее скорбная мать, чистые и как будто осмысленные капельки глаз Росинки и Николая Николаевича.

* * *

Восьмого марта 1945 года полковник Сизов наблюдал с земли, как четверка его орлов уверенно разматывает клубок воздушного боя. Врагов осталось пятеро. «Теперь нормально, — с облегчением подумал он. — Сейчас побегут!».

И в это время справа от наблюдателей сверху вниз вывалились из облаков два «фоккера». Они были замечены. Двадцатка («Спасов!») взмыла вверх. «Фоккеры» проскочили. Спасов устремился вдогон, пытаясь поймать в перекрестье прицела ведущего. И он поймал его и нажал на спуск, но в тот момент, когда «фоккер» проваливался в перевороте. Мгновение спасло фашиста. Самолеты разошлись, развернулись и устремились навстречу друг другу.

Страшное это зрелище!

Не на твердой земле — в зыбком небе, не за щитом — беззащитные, не на борзых конях — в адских машинах, общая скорость которых достигает четырехсот метров в секунду, сошлись Спасов и майор люфтваффе с двумя крестами на груди.

Самолеты стремительно сближались. Оба летчика знали, на что идут. Полковник вдруг вспомнил слова Спасова, точно услышал их вновь: «А я пойду в таком случае даже на таран». Наверное, Спасов понял, что пришла пора... Многое важное для него слилось в этом

таране: месть за Матвеева, назидание Лорду, искренность слова, странное понимание того, что так будет хорошо для будущей жизни Любы и их ребенка. «Быть честным до конца» — так сказал Спасов на том вечере...

Сердце полковника Сизова сжалось, кровь толчками билась в голове.

Прошло секунды три, самолеты выли с прежней силой. «Когда же?» — подумал полковник.

Но самолеты уже разминулись.

В последнюю секунду немец нырком вильнул влево. Сизов увидел, как Спасов (...на врага не обижаются, его бьют!) решительно выходит вверх и вправо. Скорее всего и фашист не захотел удирать, что-то в нем, наверное, воспротивилось этой постыдной мысли. Он тоже направил самолет вверх и влево, внимательно следя за Спасовым.

Оба они продолжали свой маневр до тех пор, пока снова не легли на встречный курс.

Полковник Сизов почти разгадал первую провокацию фашиста и лишь крякнул в последний момент, хорошо представляя самочувствие обманутого Спасова, практически пережившего собственную смерть.

На войне, казалось, полковник видел все: победы и поражения, случайные столкновения в воздухе своих и чужих, неожиданные спасения, вчуже переживал за человека, комком летящего к земле со жгутом парашюта.

Но такого он еще не видел. Только что избежавшие неминуемой смерти летчики снова шли на смерть. Он понял, что нового обмана не будет.

Спасов тщательно выверял курс, боясь совершить промах. Но лобового столкновения не получилось. Немец дрогнул в последний момент, и смертельный скользящий удар прогрохотал в воздухе. Блестящие брызги осколков, как россыпи фейерверка, со свистом устремились вперед и недружно упали по разные стороны безымянной для летчиков немецкой реки...

СЕРЫЙ КАМЕНЬ

I

Юрка жил в деревне Касьянка, в семи километрах от школы. Уходил в школу рано в понедельник, из интерната обычно возвращался в субботу, а в хорошую погоду иногда и в среду.

Дорога долгая. Чего только не встретится на пути в разное время суток да в четыре времени года! Одно и то же дерево — и то всегда разное. Вот посмотрите, верба у тропинки от крыльца к лесу: как размокшая паутина сереет она в осеннее предвечерье, как стог сена сутулится на подлунном снегу, как золотой одуванчик горит в майскую пору — вся в нежных желто-зеленых сережках.

Дальше подступает лес к Залупаихе, лес черный, тяжелый. Нередко из глубины его услышишь треск или аханье: это с трудом, но напрочь ломается метрах в трех от комля лесина или мягко сползает набок по игольчатому меху подроста отжившая ель. Вывороченные и сломанные деревья завалили всю Залупаиху, и течет она, нелюдимая и темная, хоть и воды в ней всего ничего.

На другом берегу лес светлее: осинник, ольшняк, много тополя — стояла, верно, здесь раньше деревенька, а есть и вообще солнечные участки: на много гектаров чистый березняк, лет до полусотни, высокий, редкий, как насаженный, с прямыми стволами и веселой непышной кроной вверху. На веники рубить — шкурка выделки не стоит, на дрова — рубль перевоз, вот и стоит красота нетронутая от Залупаихи до самого Портомоя.

Ох и названьеца! А и вправду: перешел Портомой — портки помой, подошел к Залупаихе, особенно в вешнюю пору, — те же портки залупай до пупа, а бабы — подтыкай подолы под опояску. Под стать им и названия деревень: Баландино, Змейцино, Шома, Мармулька, Требабово. В начале тридцатых годов образовался тут колхоз «Новая жизнь». Действительно, пошла было жизнь веселее, лучше, да вдруг война. Что и говорить: гвоздя не вколочено было за эти годы в колхозе. Три мужика пришли с войны из всей деревни. Поднимались трудно. Многие уезжали, особенно после укрупнений,

когда уехали все, кроме Юркиных отца с матерью. С фронта отец привез три ордена Славы, носил их, пока не расползлась гимнастерка. В колхозе отслужил на всех должностях: от председателя до кладовщика.

Два года назад поставили его бригадиром укрупненного колхоза. Только не над кем стало бригадирить: всех трех доярок правление вскоре перевело на центральную усадьбу работать на механизированной ферме. А к опустевшему скотному двору пригородили большой загон с кормушками, с водой из артезианской скважины, нагнали телят — и стал Юркин отец начальником летнего откормочного лагеря, а мать, как и раньше, телятницей.

Про скотину они говорили больше междометиями, понимая друг друга с полуслова, но по-доброму, ласково. На Юрку же особого внимания не обращали, да он и привык к этому.

Юрка почему-то заикался, хотя и не ушибался сильно никогда, напуган тоже не был. А вот заикался — и все! Летом, правда, гораздо меньше.

В прошлом году мать водила его в медпункт, показала молоденькой фельдшерице. Та посмотрела, послушала, заглянула в рот, надавила язык холодной металлической пластинкой:

— Скажи: «а-а-а».

— Ва-а-а, — давился Юрка.

— Ничего, до свадьбы заживет,—покраснела фельдшерица от слова «свадьба». — Лекарства ему не на пользу. Вы с ним поспокойней, поласковей. Избегайте отрицательных эмоций. Сердечко бы ему укрепить надо. Побольше на воздухе, без нагрузки. Лицо порозовеет — выправится и речь.

«Серде-ечко», — ворчал про себя Юрка, возвращаясь домой. Старался вышагивать вразвалку, впереди матери. Незаметно косил глазом на левое плечо, на правое плечо. Во ширина!

«Серде-ечко... А красивая, и пахнет вкусно». Он знал многие запахи: ключевой воды, апрельского снега, осиновой коры, земляники, клеверного поля, запах дегтя, человеческого пота и телячьей мочи, особенно запах родной избы, но такого — чистой девичьей свежести — он еще не нюхал. «Скудненький! Ишь, гусенок, вышагивает... — жалела мать. — А фельдшерица — что фельдшерица? Девчонка так девчонка и есть... Надо бабку

Авдотью поспрошать. Больно скоро песьяк вылечила».

С месяц назад вскочил у Юрки здоровый ячмень, на левом нижнем веке. Дня три назревал. Накатился, как японский вулкан на картинке. Склоны сизые, а пик обледенел. Даже из школы Юрку отпустили. Он уже почти не видел дороги: от левого-то глаза только щелочка отсвечивала, и правый воспалился, покраснел. Голова заболела, самого разжигать стало.

Дома пролежал до вечера. А вечером, когда мать доила корову, пришла бабка Авдотья за молоком. Она не уехала на центральную усадьбу с сыном, осталась в Касьянке до осени, чтобы участок не пропал. Куриц, овец, поросенка, корову — все хозяйство перевезли. Огород не перевезешь. Вот и копалась на грядках.

— Что, матушко, заболел? Ну-ко, покажи глазок-от. Повернись-ко к баушке.

Юрка любил эту маленькую добрую старушку. Никогда не пройдет без ласкового слова.

— Ну-ко, на спинку-то повернись. Вот-вот так...

Она положила ему ладонь на нос, закрыв правый глаз, большим и указательным пальцами раздвинула веки на левом — да как дунет в самую середину!

Юрка взвился. «Дура!» — заорал он, крутясь на постели, схватил одеяло и давай вытираться. Нарыв лопнул. Слезы, кровь и гной размазывал он по лицу.

— Что ты, матушко, что ты, остепенись! — уговаривала бабка.

— Дура, уйди! — надрывался Юрка.

Но дело было сделано. Через час ему стало легче, а наутро проснулся и не вспомнил о ячмене.

— Верное дело, Марьюшка, раз плюнуть — как рукой снимает, — оправдывалась бабка перед Юркиной матерью.

...Всю дорогу рассказывала мать сыну, как и куда ходили они с отцом, как провожала его в армию, как да где встречала. Юрка всем видом показывал, что не очень-то и слушает. Однако ступить так старался, чтобы и слова не заглушить.

По дороге и решила Юркина мать спросить бабку Авдотью, что же делать от заикания.

— Ах ты, господи, что за напасти на парня? — сокрушалась бабка на материн вопрос. — Скоро уж гулять будет, а чем девушку уговоришь? Делать неча, что-нибудь изладим. Когда он больше заикается-то?

— О домашнем говорим — дак вроде и ничего, а как про отметки — навроде вздрагивает. Навроде пугается.

— Пугается, говоришь? Вот и ладно. Застращать надо испуг-от. Погоди, я вот ужо зайду.

Сеанс лечения проходил опять на вечеру.

Бабка нарочно задержалась, не пошла за молоком, выждала, пока не потянуло из трубы Юркиного дома сосновым дымком.

«Ага, самовар наставили. Скоро за чай сядут. Погожу, невелик уповод... Только чем бы испугать-то? Какую напраслину возвести? Морковь безо время выдергал? Мышонка в молоко спустил? Ну да ладно. Грех бы, парень-от больно хорош, такой смиренный. А и в хворости как оставить? Возьму грех на душу, помолюсь, скажу: «Господи, все во славу твою».

Размышляя подобным образом, отправилась к рядовым.

Юркина семья сидела за чаем. Бабка нарочно повозилась на нижнем мосту, чтобы залаяла Динка, а когда та свою задачу выполнила, насторожила хозяев, бабка заворчала непривычно суровым, но слабым голосом: «Что уж и за родители такие ноне пошли! Одно дитя — и то шпаной вырастет. Слыхано ли — и на соседнем деле над старухой измываться? Морковь безо время сгубил — ладно, молчу, — она переступила порог, — в молоко то мышонка, то тараканов насадит — ладно, молчу. Драть надо. Вичка ребра не переломит, а ума даст».

Мать быстро поняла замысел бабки Авдотьи и напряглась, а отец начал расстегивать ремень.

У Юрки округлились большие голубые глаза, он побледнел и ждал, что будет дальше.

Бабка, согнувшись в пояснице, выставив добродушное мягкое лицо, наступала, глядя Юрке в глаза.

— Говори, как на духу: ты почто это опять по гнездам лазал, ты почто это опять все яйца вытаскал? — строго вопрошала она, только как-то нараспев, будто сказку рассказывала.

Отец насторожился: что-то ему показалось не так.

Юрка ненормально захохотал, задергался, закашлял, посинел. Все с испугом смотрели на него.

— Бабушка, да ведь у тебя куриц-то давно нету! — первая опомнилась мать.

Юрка выскочил из-за стола.

— Нету-у? Ой, матушка, верно ведь — нету! Совсем из ума выжила. Простите мя, дуру старую.

— Зачем тогда мелешь, не знать чего? — рассердился отец. — Я ведь его еще не парывал. То в глаза наплюешь, то... мать твою распротак!

— Как же, андел? Попугать хотела. Со страху-то и заикаться перестал бы. Мать-та сама просила. От слова какой вред?

—Я вот вас, лекари, перебегом вылечу! Садись, пей чай, — еще сердясь, сказал бабке отец. — Выпадет время — к докторам свезу. Нас вон из кусков собирали... А тут — хе-й! Юрка, иди посмотри на дураков!..

...Но время ехать к докторам не выпадало. Летом свое дело не оставишь, а зимой как Юрку от учебы оторвать?

Правда, и заикался он не всегда. Когда загонял телят в отсутствие отца-матери, не до заикания было. Тут голос его был свободен и звонок, слова выпархивали легко, как жаворонки. Набегавшись вволю, часто засыпал он прямо в яслях на зеленой подкормке, а просыпался то ли от солнца, то ли от росы, то ли от капель пены с телячьих губ. Однако проходило лето, и Юрка опять превращался в ученика.

Первый звонок действовал на него угнетающе: Юрка начинал заикаться на весь учебный год.

II

Приготовления к празднику Победы были в школе в полном разгаре. Особенно много сделали ребята из Юркиного 7 «а». Все дома обошли, разузнавали, кто с войны не вернулся. Списки составили, много фотографий собрали, выдержки из писем выписали.

На уроках труда выпилили фанерные звездочки, покрасили красным суриком, прибили к домам фронтовиков.

Юрка сам в прошлую субботу приколачивал звезду на своем доме. Отец подошел, посмотрел, сказал на Юркины объяснения: «Ну-ну». И добавил: «А багорик-то перевесь, чтоб не мешал».

Настроение у Юрки было приподнятое уже несколько месяцев. Вряд ли он понимал, отчего так. В голове у него еще не вполне рассвело, в отношении к школьному миру не было ясности, но что-то стало нравиться ему

в этом мире. Может быть, новая практикантка на него подействовала? А вообще-то она никак и не исхитрялась «действовать». Рыженький очкарик, кнопочка, чуть ли не с Юрку ростом, только пошире. Заводная, как волчок. На уроках интересная. Развесит таблицы, схемы, указочкой потыкает: сравни, докажи, почему? А то игры затеет, кто внимательней, кто сообразительней? Весело, смешно. Только хохотать надо быстро, а то прозеваешь — над тобой захохочут. А как читает — и все почти наизусть!

По вечерам в интернате торчит, задания проверяет. «Юра, я тебя спрошу, а ты подумай и помолчи. А потом всю фразу сразу. Понял? Давай...»

На дорогу и то задания. Разговаривай, кричи, ведь с любой елочкой поговорить можно.

— А я с воронами ра-разговариваю.

— Ну-ка, расскажи потихоньку.

И Юрка шепчет, полуотвернувшись:

— Видали — у фермы воро-он! Сидят, нахохлились, редко шевелятся, голодные. Навоз окаменел, сено да солома под снегом. Вдруг одна летит. «Кар-р!» Я размахнусь и брошу ко-корку. А та не дура: будто не видит, сделает круг, а потом — раз! — и точно на корку. Я еще брошу — и вот еще летят. Потом соберется — т-туча. Я в столовой всегда к-корок на-набираю. Тетя Соня уже ругается: поросенку, говорит, надо. А вороны смышленые. Узнают уже меня. Сначала с-стороной летают, а как начну бросать — вот содом! Орут, кричат, дерутся, и я ору. Каждый раз до дому проводят. Но только до весны, до корму.

— Ну, молодец. Посмотреть бы!

И возьмет она гитару, и начнет петь частушки, сокольские да никольские.

— Слушайте, запоминайте, да и сами записывайте... Послали бы меня в вашу школу работать — мы бы сборничек выпустили. Рукописный бы. Экспедицию бы устроили. За песнями.

— А вы попроситесь, Зинаида Антоновна.

Задумается, все ждут, что ответит, а она: «Ладно, давайте заниматься».

А что «ладно»? Приехала с зимних каникул, всех затормошила, всю жизнь от звонка до отбоя подчинила подготовке к Дню Победы. День в школе, вечер в интернате, да еще в клуб на репетиции бегает. Просто

удивительно. Все ей тащили: фотографии, старые письма. И все это разместили на стенде. Он теперь в клубе висит.

Хор сколотила. Даже мальчишки поют. И Юрка поет. Он стоит во втором ряду и поет в Тонькин затылок. Та рукой за шею хватается: волосинки-то от его дыхания шевелятся, щекочут. Юрке и хорошо, и чего-то стыдно...

Вот бы все время учиться у Тюпочки! А то снова вернется Исполина Пудовна — страх-тоску нагонит. (Учительницу, конечно, звали Полиной, но тайное имя точнее отражало ее рост и объем). Любого заикой сделает. Юрка помнит, как с ней познакомился три года назад. На первом же уроке, едва обернулся к Тоньке за резинкой — шоп-шоп! — Исполина Пудовна как стукнет ладонью по столу, да как взвизгнет: «Встать!». Юрка так вздрогнул. Сердечко зашлось. Он никогда и не слыхал, чтобы так орали. После этого попробуй-ка отвечать!

С Тонькой в прошлом году еще чище вышло.

Стояла у доски да забыла чего-то, тщится вспомнить, морщится. А Исполина — руки за спину, в накинутом пальто, к стенке привалилась.

— Ну... ну... — понукает.

Тишина. Кто бы и рад подсказать, да забыли уж, о чем надо-то.

— Ты, Серякова, чем думаешь?

В классе засмеялись.

Тонька заревела, а Пудовна стала читать мораль. Кто похитрее — слушали ее с вдумчивым видом, а Юрка все еще видел Тонькино лицо у доски, хотя она уже села и хлюпала носом сзади.

...В коричневом платьице с белым передником, худенькая, напуганная, — такой он видел ее. Попробуй заступись — свои же задразнят. Вот была бы Тонька сестрой, вот тогда бы он показал! Ходили бы вместе в школу, он бы обе сумки носил, сидели бы на одной парте, и он бы на нее нечасто и незаметно смотрел...

Размечтался Юрка. И от волков сестричку спасал, и на войну, нет, в армию она его провожала. Выходило похоже, как мать рассказывала об отце. Он только чувствовал, что нудная мораль учительницы мешает ему, путает его мысли.

... Нет, Тюпочка бы так никогда не сказала. Про во-

рон и то слушает. А уж кота интернатского Тюпу с рук не спускает. Как только не назовет: Тюпик, Тюпок, Тюпочка...

III

Юркина мать под праздник почти не спала. Спину будто собаки грызли. С вечера затворила пироги, обрядила скотину, начала было выставлять рамы да вдруг схватилась за поясницу. Просадило, видно. Бросила дела и по скрипучим приступкам влезла на печь. Пока здоров человек — никакого возраста не чувствует. А чуть что — и полезут они, думушки-то.

Кому болезнь в радость? А тут посуди-ка: лес, поляна огромная, дом. Единственный на семь верст в округе. В доме печь. На печи — маленькая нездоровая женщина. Одна. Тихо. Радио молчит. Подгнивший столб повалило еще в апреле упавшей осиной. Говорила своему — наладь, а что один сделает?

Как в могиле. Положила под голову валенки, голенище на голенище, на них подушку тощенькую, специальную, печную, фуфайку выдернула из-под себя — все теплее на голых-то кирпичах. Под поясницу еще валенок подсунула — меньше гложет, если спину изогнешь.

Перед глазами матица — как литая, восковая, шпильками исчерченная — немало передумано на печи. Вот пятно черное, пороховое — память о Санушке. Горько дрожат губы у матери, как подумает о нем. Глубокие глаза наливаются слезами. Ладно, никто не видит. Выкатится слеза, поползет по виску, по щеке — она подтянет руку, напружинится, боясь стронуть поясницу, вытрет щеку и опять аккуратно вытянет руку вдоль туловища. Не больно послухмяный был Санушко. Учиться не захотел. Работал в колхозе. По гуляночкам похаживал сызмала. Гармошка, нож, ружье да лошади — не было другого интереса. А кто выучивался? Никто как следует. Только те, кому удавалось уйти в РУ, в ЖУ. Это если родственники в городе помогут. А какие у них родственники? В колхозе работы тоже на все время не напастись. Вот и додурачился Санушко.

Шли раз в апреле с другом по улице. Мать еще посмотрела в боковое окошко. С Ванькой Марьиным идут. В фуфаечках оба, шапки серые солдатские у обоих на бочок, оба в белых валенках, голенища загнуты,

издали галоши блестят. Любо-дорого! Ростиком одинаковы, только Ванька пошире корожее. У Санушка ружье, централка проклятая. Дорогу-то уж пучило, почернела от навоза, а воробьев на ней! Разгребают навоз, кормятся...

Ну что паразиты делают? Можно ли в деревне палить? Она опять подбежала к окну.

В обе стороны от дороги на нечистом снегу трепыхались раненые серые комочки. Вот бы как надо выскочить да вылаять, чтобы знали другой раз! Не выскочила. Домой ведь идут, что уж принародно-то срамить! Оба веселые, хохочут. Затвором передернул Санушко, Ванька к ложу тянется. Чего-то замешкались, и Санушко начал валиться набок и на колено уж упал. Только тут ее выстрел-то оглушил. Ванька его подхватывает, устанавливает, как было. А Санушко размяк, не держится, валится...

Мать бессознательно повторяет телом его движения, его муку, она в который уже раз готова броситься и спасти сына, и каждый раз ноги отнимаются, как и тогда.

Какое до больницы — до медпункта не довезли Санушку! Только и сказал еще на нижнем мосту, пока лошадь запрягали, чтобы Ваньку не винили.

Вот как ослабнет человек, не может работать, так откуда они и берутся, слезы.

Хоть бы с Юрушкой все ладно было! Хоть бы ему дал бог здоровья! Она вряд ли верила в бога, она его при случае поминала дай бог как, а тут ночь, до ближайшей деревни семь верст да и не слышит никто...

— Ма-ать, ма-ать! — послышалось ей.

— А? Кто? Чего? — вскрикнула она, но вспомнила про поясницу, притихла. — Ты, отец?

— Чего-то квасу никак не ошарю. Наставь-ко самовар. В Москве-то уж, поди, гимн играют.

— Ой, видно, забылась я. А ты чего больно рано? У кого ночевал-то?

— А когда ночевать-то? Как все кончилось — сразу и домой. — Он отпил полбанки квасу. — Ну, мать, не поверишь, будто снова в атаке побывал! Знаешь, я ведь, как выпью, чувствую — все, сразу бегом домой. А теперь уж вон сколь время не брал в рот. Взяло, видать. Ну, бегу, знаешь ведь, там под гору. А тут кто-то пускач завел, сзади песни орут, а мне одно далось: пер-

вым быть должен! Вдруг — жах! — как на мине, искры да звон...

Очухался уж не скоро. Шарю кругом — цел, воронка не воронка, землянка не землянка, руку вытянул — в накат уткнулась. А чувствую — сквозит. На карачки встал, лезу по скату — где это я? Здания высокие, длинные, электричество горит, как в городе в хорошем. Ни наши, ни немцы не стреляют. Приник на всякий случай, а не терпится, опять голову высунул. — Он замолк и серьезно выпучил глаза, всматриваясь в устье печи.

— Ну?

— Вот те и ну! Ферма! Ферма оказалась! А я с моста грохнулся! Вот те и кантузия!

— Да ведь, леший, зашибся бы! Однех бы нас в лесу оставил! Что уж нам, тут и сгинуть? — пригорюнилась она.

— Не однех, не ори: не сегодня-завтра телят пригонят, — он засмеялся.

— И чего дурак мелет — самому смешно!

— Верно, смешно. Все злой был. А теперь отошло. Ну, иди ко мне, иди, все хорошо, поняла?

Он мягко, успокаивающе обнял жену, похлопал по лопатке, погладил коричневую от непроходящего загара щеку.

— Чего трешься, как котенок? Не нагулялся еще? Налить?

— Хм, налить... Наливай себе, если хочешь. Вот за чаем ужо... Ну, скоро ли скипит? Торопи. Бриться надо.

— Да ведь вчера брился. Для телят?

— Юрко скоро придет, — как-то особенно сказал он. И — как бы между прочим:

— Сколько у нас денег-то? — выделил слово «сколько».

— А зачем тебе? — озадачилась мать.

— Ну-у-у, — неопределенно промычал он.

— Телушку не кормить, сдать, так к зиме шесть тысяч будет.

— Не будем кормить, — сразу сказал он.

— Ну-ко, ну-ко, ты чего это задумал-то? Ай?

Он встал, снова обнял жену, подвел к окошку. Воздух еще не начал струиться маревом, молодой зеленью отсвечивал ельник, по опушке растекался бледно-розовый дым. Это поднималась на теплых токах, исходивших от укрытой прелью земли, живительная пыльца,

клубясь между отмякшими ветками ивняка, стволами ольхи, осин и берез. Верба у тропинки сияла во всем своем медовом великолепии. Одуревший тетерев вертел головой, длинная шея отливала перламутром. Собратья его не сбивались в кучу, они рассредоточились по лугам и полям, чуфыркали изредка, зато «буль-буль-буль-буль-буль» наполняло округу, заглушая другие звуки.

— Вот увидишь, скоро прилетит. Понимаешь, не дурак у нас Юрко-то, оказывается.

— Дай бы бог... — обрадовалась мать. — А в кого бы ему дураком-то уродиться? — спохватилась.

— Учить надо! Хвалила вчерась его больно учительница. Молоденькая, а не глупая. Разобралась. Из всех похвалила. Написал он чего-то там. Про нас с тобой.

— Про на-ас?

— Про на-ас! — передразнил он. — Ты ему все-то даром не мели. Про серый-то камень. Успеет еще, свихнется. Обратает какая-нибудь вроде тебя.

— Господи, спохватился все-таки?! А я-то дура, думала, так не обруганная и в могилу сойду, — притворно запричитала жена.

— Да не ругаюсь я, не выдумывай. Переезжать к осени надо. Председатель вчера обещал комнату в общежитии плотников. Дом на место перевезем, поставим. Учить Юрку надо, — снова повторил он.

...А Юрка в это время уже летел к дому. За зиму он вытянулся. Легко сигал через канавы, удачно миновал Портомой. Он чувствовал легкость, ноги в сапогах из овечьей кожи ступали широко. Он раскраснелся, скользил взглядом по красным прутьям ивняка, прозрачным осинникам, туманному ольшняку. Солнце светило ему в глаза, он щурился и спешил. А зачем? «Не знаю», — ответил бы он на этот вопрос. А в груди билась горячая радость за себя, за отца, за мать, за то, что он увидел в них что-то такое, лучше чего не бывает совсем.

Вчера они — участники концерта — во время торжественного заседания сидели в первом ряду на гимнастических скамейках. Юрка никогда не видел отца таким подтянутым и нарядным. Тот сидел в президиуме между председателем колхоза и замом военкома. Три ордена Славы поблескивали на его широкой груди.

Отец спокойно обводил глазами старых приятелей,

шумливую молодежь и, только встретившись взглядом с сыном, беззвучно перебирал губами.

Юрка отводил взгляд, но ненадолго, вскоре опять во все глаза смотрел на сцену. Майор делал доклад, говорил сочно и весело, аплодисменты гремели всерьез.

Но вот он стал поименно перечислять шестьдесят семь погибших — сделалось тихо. Только прерывистое дыхание десятков людей, подрагивание плеч да закрытые ладонями лица выдавали состояние зала. Даже зловредная гармошка на крыльце умолкла.

В дверном проеме забелели вытянутые лица шалопаев. Это каменное молчание при негромком четком голосе докладчика будто солдатским ремнем стянуло старых и малых. Каждый чувствовал силу этих редкостных минут единения.

Майор уже не мог продолжать в прежнем тоне и вскоре закруглил доклад, успев похвалить работу кружка красных следопытов. Юрке похвала понравилась, хотя они и не называли себя «следопытами». А хорошее слово! Надо подсказать Зинаиде Антоновне! И вдруг он покраснел так, что жарко ему стало. Сколько домов обошел, добывая фотографии, письма, узнавал имена, а и не знал, что родной отец — герой. Настоящий герой!

Отца попросили выступить. Он ухватил побелевшими пальцами обтянутую красным полотном трибуну и растерянно поворачивал голову то к залу, то к президиуму.

— Расскажите нам, за что вы получили награды, — подсказал майор.

— Я? Как все, так и я, — сказал отец, глядя на майора.

— Поподробнее, пожалуйста.

— Боюсь, надолго затянет. Четыре года за ими ходил.

— А все-таки? Молодежь знать желает.

— Ну, кх, кх, как война началась, здесь уже говорили, — начал он.

Зал затих. Юрка застеснялся и опустил голову.

— В общем, поначалу бежали мы — ноги до сих пор износили, — резанул ребрами ладоней по пахам. — Ну, дали они нам! Я тогда хорошо бегал. А после — ну, дали мы им! Они нас по прямой гнали, а мы их — охватиком,— он плавно очертил тяжелой рукой порядочный круг. — Так в котле выварим — мясо от костей отстает! Меня

три раза — жах! По частям собирали. А как шинель надену — опять целый весь... Я тогда хорошо бегал. Первый добегал. Думаю, надо бить, пока не убили... А вы там, в дверях, не скальтесь! Учиться надо вам... военному делу... настоящим образом! Это не я говорю. Это Владимир Ильич... наказывал, — сказал отец и пошел на место.

Аплодисменты снова грянули.

Мужики языкам дали волю. Смех, одобрение и восхищение слышались в рядах.

— Не смотри, что тихонький!..

— Промеж глаз врезал!

— А что хочешь? Полный георгиевский...

— Кто еще желает выступить? — надсадно крикнул председатель.

— Я! Можно мне? — вскочила Зиночка с поднятой рукой.

— Я! Можно мне? — уже с трибуны радостно выкрикнула она и, не обращая внимания на председателя, который хотел, как положено, представить ее, продолжала:

— Я хочу прочитать сочинение Юрия Кошкина. Вашего сына, товарищ Кошкин. Оно называется «Дороги Победы». На конкурс писали. Но это я глупо такую тему дала. Больше не буду. Вот оно:

«Я еще мало читал книг про войну, потому что их тяжело носить домой. А в интернате мы готовили уроки да ходили на мероприятия. Но летом я часто сижу на камне посреди нашей Залупаихи. Около него совсем мелко и вода чистая. И если сидеть тихо, то мальки подплывают близко и хватают мелкие крошки, которые я вытряхиваю из карманов.

Мне мама рассказывала, как провожала отца на войну. Папа ей крикнул, чтобы она не сходила с камня на этот берег, а то его убьют.

Дальше дорога пошла в гору, и папа пошел в гору, и она пошла в гору, только к дому, только задом наперед. А он повернулся и тоже пошел задом наперед. И они долго еще видели друг друга. Они всю войну друг друга видели.

В него много раз стреляли, и попадали осколки. А он ни разу не умер.

С войны он ехал на попутной телеге. Кто-то сказал маме, и она выскочила его встречать. Он побежал ей

навстречу, снял с камня и понес в гору на руках. Там стоял Санко и ревел на весь лес. Он отстал от мамы. А потом родился я. Теперь я по этой дороге хожу в школу».

Тюпочка поздно спохватилась, что не надо бы читать-то перед всеми, сбивалась, краснела, но ее смущение передалось в зал, и народ слушал внимательно и тоже смущенно. Юрку раза два ткнули в бок, а он только огрызался беззвучно, не поднимая головы. Отец же нарочно завел какой-то разговор с майором — будто и дело не его.

...А сейчас они с матерью стояли у кухонного окна и смотрели на дорогу. Тетерев вдруг сполошно сорвался с вербы, но, как бы одумавшись, спланировал в жнивье.

Над пригорком закачалась Юркина шапка с опущенным козырьком.

— Докипает, смотри! — смятенно бросила мать, указывая на самовар, и в одной кофте выскочила на улицу.

Юрка подлетел к дому размашисто, возбужденно.

— Ма-а! — закричал он, увидев ее. — Ставь самовар, скоро папа придет! Я думал, меня догонит. У них вчера праздник был. Он же у нас герой. Ты это знала? — выпалил он одним духом.

Отец отодвинулся за косяк и усмехался довольно и виновато.

У матери сбилось сердце, занялся дух.

— Милый ты мой! — прошептала она, опираясь на частокол, но шепот ее не был слышен в сплошном гуле тетеревиного бормотанья, в звоне жаворонков, которые выпархивали из старых копытных следов и вязко трепетали крыльями в парном и плотном воздухе.

СОЧИНЕНИЕ

На педсовете было недвусмысленно сказано, что восьмиклассники все должны быть допущены к экзаменам и выпущены из школы. «Допущены, повторяю, и выпущены!» — и при этом собрание было обведено ого каким начальственным взглядом! В решении, разумеется, такого пункта не будет, но тем не менее сказанное имело силу.

У Октябрины Ивановны, учительницы русского языка и литературы, заныли кончики пальцев. Они всегда

у нее ныли, когда нужно было напрячь душевные силы, то ли с кем-то из родителей поговорить, то ли выступить на собрании. А тут как будто что особенного? Не первый год идут такие разговоры. «Переведем. Не таких еще переводили», — думала она о восьмиклассниках.

Она подперла подбородок руками, устремила глаза на очередного оратора и замурлыкала про себя нарочито дурашливо:

Это мы не проходили,
Это нам не задавали.
Тара-м-пам-пам,
Тара-м-пам-пам.
Это нам не задавали,
Это мы переводили.
Тара-м...

«Переводили? — вдруг встрепенулась она. — Это мы п-переводили», — по инерции пропела еще раз, и вдруг это затасканное слово расцвело перед ней, как радуга.

Ей представилась речка около отцовского дома, тяжелая туча над болотистым берегом, вялые тополя на бугре. Она переводит за руку по лаве* мальчиков и девочек. А радуга цветет и пугает: переводи, успевай, пока солнце не увязло.

«Ну что же, будем пе-ре-во-дить! Переводить и выпускать... Выпускать? — Ей хотелось обнажить смысл и этого слова, но он ускользал. — С пятого класса контингент храню, — опять завертелись мысли. — К экзаменам — допущу. Тут моя воля. А напишут ли? Конечно, напишут. Повторение начато, билеты пришли еще в декабре, напишут... А все ли? Надо, чтобы все.

...Девочки, конечно, не подведут. Меньшикова освободим: сердце слабое. Если бы не Ипатьев — все бы ничего. В пятом классе до смерти напугал, паразит. Хотела уж в спецшколу определить. Да где там? В институт легче устроить».

Октябрина Ивановна хорошо помнила разговор в роно о будущей судьбе Ипатьева.

— А где же вы четыре года были? — спросили ее. — Он, что, всегда был умный, а вчера стал дураком? Не логичнее ли предположить...

— Что дура я? — с вызовом сказала она тогда.

— Ну, что вы. Не горячитесь. Я хотела сказать: не ло-

---

* Мосток через речку.

гичнее ли предположить, что это временный срыв у мальчика? Что-то связанное с характером, настроением? Не думаете?

— Возможно. Только уж очень хроническое у него настроение. Ничего не учит.

— Побывайте в семье, побеседуйте, повлияйте на товарищей. Не забывайте об индивидуальном подходе.

Этот разговор не имел особых последствий. Октябрину Ивановну вполне устраивало, если Витька сидит на уроке и что-то делает. «До выпуска еще долго, — решила. — Подтянется. А неорганизованность, видимо, в крови». Она уже привыкла брать с собой лишние тетради, ручки. У Витьки тетради часто терялись, а ручки вечно были изгрызенные или своей конструкции: из обломка карандаша, из гусиного пера, а то и шариковый стержень к гвоздю прикручен. Приходилось мириться, лишь бы писал. Спрашивать его было бесполезно. Встанет и молчит. А то смотрит искоса. Но в последние годы она научилась залучать в журнал тройки. Сделает раз пять словарный диктант «Проверяю себя», а потом эти же слова войдут в контрольный. Вот и тройка. Или за работу над ошибками. Да мало ли способов!

А напугал ее Витька вот как.

В конце третьей четверти писали сочинение по повести «Дети подземелья» Короленко. Сколько готовились, разбирали! План составляли, по нему устно все вместе излагали содержание, хором заучивали красивые слова и обороты. «Маруся угасла. Серый камень мрачного подземелья высосал ее слабые силы», — нараспев читала Октябрина Ивановна, а класс, ритмично качая головами, повторял.

Наконец взялись за сочинение.

Октябрина Ивановна наслаждалась работой класса. У некоторых получалось совсем неплохо.

А Витька уже устал. Обитатели подземелья, кроме страшного Тыбурция, ему нравились, но писать было неохота. Ему было жалко Васю, Валека и Марусю! Он что хочешь для них сделал бы, однако это его чувство никак не выливалось в слова. Витька писал нудно и вяло. Едва на страницу хватило вместе с заголовком. Перевернул. Ух ты, какое чистое поле! Ничего, попашешь тут! Да еще как на грех забылось начисто красивое предложение для конца. Витька знал, что оно жалобное, тоскливое. Помнил мрак, камень, смерть, вертелось

на языке слово «высосала». Думать не хотелось. И на вред этой гадине смерти, себе и Октябрине Ивановне сверху чистой страницы написал: «Марусе смерть высосала из земли полумрачный камень». Поставил точку и сдал тетрадь. Он, конечно, знал, что двойка обеспечена. Только не предполагал, как бурно будут обсуждать в учительской его умственные способности.

Из класса в класс переводили его с обязательным заданием на лето. В дневнике по русскому языку всегда стояла двойка за год, осенью ее исправить вечно забывали, зато в классном журнале троечка красовалась уже с весны. А Витьку летние задания не пугали. Он никогда их не делал. Раза два-три в конце августа посидит — и все. Сам удивлялся. И не подлизывался ведь.

На прошлой неделе Витька опять учудил. Дополнительные занятия кончились, а его Октябрина Ивановна еще оставила на полчасика: «Деепричастными оборотами позанимаемся».

— Не буду я писать эти завертыши, — сказал Витька упрямо.

— Ну вот, раз завертыши узнаешь, значит, уже хорошо, — она понесла тетради в учительскую.

Вернулась — Витька исчез. Только ручка из чернильницы торчит вверх пером! «И что только думает! Вот и выучи такого!» — возмутилась по привычке Октябрина Ивановна. А что толку? Сколько раз кляла себя за то, что не отвязалась от него еще в пятом классе. Теперь уже поздно. Экзамены на носу. И в учительской не поплачешься. Разок попробовала — себе дороже. Этот чистоплюй Алгоритм еще поиздевался: «Все беды — от безделья. Заставляйте работать. А ваш Витька молодец! Вон как меня удивил. Встает и говорит: «А правильно я думаю: разность по порядку членов геометрической прогрессии сама представляет собой арифметическую прогрессию с разницей в 2?» Непонятно? Вот и я вначале не понял. Вызвал к доске. Он написал. Быстро, толково. А главное — верно! — и Алгоритм вытаращил на нее свои карие глаза. — Так очень обяжете, коллега, если благодаря вам он будет более точно выражать свои мысли. Мы теперь всегда от него ждем подарочка!»

«Чистоплюй! — подумала тогда. — Повозился бы, сколько я, после уроков. Нет, все таскает какие-то макеты да карточки. И на уроке у него пыхтят да шипят —

все что-то решают. Рук не поднимают: два-три слова — и опять пыхтенье да шипенье. Хорошо им, без слов обходятся».

Октябрина Ивановна сама говорила много, но не очень красиво и связно.

...Очередной оратор закончил свое выступление. Октябрина Ивановна снова напряглась, но выступать на педсовете ее не заставили. Говорили в основном официальные лица.

* * *

Все второе полугодие Октябрина Ивановна жила в школе напряженной жизнью. Кроме четверга, специально выделенного ей для консультаций, она оставляла восьмиклассников для дополнительных занятий и в другие дни охотно заменяла отсутствующих коллег. Часы эти она не возмещала, так что готовиться к ним было не обязательно, но в то же время наживалась репутация трудяги.

Последнее сочинение показало, что опасаться ей особенно нечего. Конечно, Меньшикова надо будет освободить от экзамена по состоянию здоровья (она уже консультировалась с врачом, и мнение администрации единодушно «за»). Вот Ипатьев — это да! Этот не заболеет. Семнадцать оборотов на турнике делает. Сама видела. Эту бы энергию да на дело!

Увы, приходилось думать за него. И надумала Октябрина Ивановна отступить от своего правила. А правило простенькое: на все темы, какие бывали на экзаменах, переписать сочинения. И не просто переписать, а заставить выучить. Не будут? Ничего, будут, если сдать думают!

Отступление она сделала персонально для Ипатьева. На одном из уроков разбирали сочинение на тему «Мой любимый литературный герой». После урока она попросила Витьку остаться.

— Ты, Ипатьев, эту тему будешь писать на экзамене, — сказала ему.

— А может, не такая будет, — угрюмо возразил Витька.

— Об этом речь впереди. А сейчас у тебя двойка. Ошибок — сам видишь. Стиль — хуже некуда. Вот тебе задание. Завтра мне расскажешь после урока о Павке Корчагине. Начнешь с освобождения Жухрая. Расска-

жешь за три минуты. Самыми короткими фразами. Ясно?

— Ага, — сказал Витька в парту, доставая сумку.

Назавтра снова разбирала с ним после уроков эту тему. Опять дала задание: «К понедельнику все это напишешь. Но учти: предложения короткие, никакой прямой речи, никаких деепричастных оборотов, завертышей по-твоему, никаких переносов слов. Видишь, слово не войдет — пиши его на другой строке». И еще дала карточку с трудными словами: коммунист, интервенция, революция, солидарность.

После нескольких таких занятий Витька понял, что про Павку Корчагина на одну страницу свободно напишет на экзамене. «А если еще крупным почерком!» — подумал он и с гиком выскочил из класса.

Брина-брина-Октябрина,
Октябрина-брина-бра!
Эта брина-Октябрина
Не доводит до добра! —

радостно орал он, подлетая к перилам, чтобы сигануть вниз на первый этаж.

— Ипатьев! — услышал вдруг Витька голос директорши. Он не убежал, а только остановился у лестницы в надежде, что директорша просто окликнула его да и прошла. Хватит у нее и своих дел. Но Витька ошибся.

— Ипатьев, зайди ко мне! — не предвещающим ничего хорошего голосом повторила директорша.

В кабинете она велела ему подождать, а сама вышла. Витька отошел за печку, сел на стул, надеясь, что вовремя успеет вскочить. Настроение испортилось. «Хорош кабинет, и почитать нечего! — подумал он, рассматривая скучные стенды на стенах.

Вслед за директоршей в кабинет быстро вошел высокий мужчина. В руках он держал пыжиковую шапку.

«Вот это шапочка! Пыжик!» — восхитился Витька.

— Слушаю вас, Никон Петрович, но побыстрее, пожалуйста, уже был звонок.

— Два слова, Конкордия Дмитриевна. — Насчет дров я. Купите.

— Хорошо. Купим, а где, сколько, цена?

— Как где? У нас. Сколько — указано в ведомости, а цена везде одна — пять рублей складочный.

— Простите, не вполне понимаю.

— Поясню. Дрова, которые полагаются моей жене как коммунальные услуги, нам не нужны. А вы, ну, школа, все равно их где-то покупаете.

— Да, покупаем. Простите, действительно, я как-то не думала... — начала путаться директорша, взглядывая на Витьку. — Но Октябрина Ивановна ничего не...

— Ей неудобно. Как-никак хозяин-то я.

— Ах, да... Минутку, — соображала она. — Значит, вместо шестидесяти рублей вы хотите получить сто?

— Совершенно верно, девяносто восемь рублей ноль-ноль копеек.

— Хорошо, понимаю. Простите, время вышло, — она села. — Ответ вы получите сегодня же через вашу жену. До свидания.

Никон Петрович начал прощаться и пятиться к выходу.

Пятясь, Никон Петрович поравнялся с Витькой. «Ученик», — мелькнуло у него в голове. А Витька нарочно делал вид, что ничего не видит и не слышит. А в голове вертелось: «Вот так пыжик! Чижик-пыжик. Чижик-пыжик, вот так гусь. Я до гуся доберусь!»

Он разозлился на всех сразу: на себя, на Пыжика, на Октябрину Ивановну, на директоршу. «Все! Больше он не будет растяпой. Кислятина. Обрадовался, что тройку получил, распелся. Купить хотела? Не купишь. И этой очкастой — фига два! Все равно теперь». Он насупился и уставился в пол.

Директорша сняла очки и улыбнулась.

— Виктор, подойди поближе.

Он думал, что не пошевельнется, а ноги уже шаркали по полу.

— Я хотела сделать тебе одно замечание: выражай восторг менее бурно. Тебе ведь еще мно-о-ого радости предстоит. Носи голову, как военные на параде. Вот так, — изобразила она. — Видал?

— По телеку, — скривился Витька.

— У вас алгебра? Передай вот учителю, — протянула сложенный вдвое листок.

На лестнице Витька записку все-таки развернул. «Н. Н.! — было написано в ней. — Придти на урок не смогла. Подателя сего казнить нельзя помиловать. А запятую он поставит сам». И подпись.

«Во дает!» — подумал Витька.

Он постучал в дверь и, услышав шаги, открыл ее, идя навстречу Алгоритму и протягивая записку.

— Садись, — кивнул он — Меньшиков продолжает комментировать. Кто справился — задание на доске. Работаем!

Через минуту подошел к Витьке, пальцем показал номер задания, а на ухо шепнул: «Ну-с, где запятая предпочтительней?

— Перед помиловать, — шепнул и Витька.

Оба сделали веселые глаза и занялись своими делами.

* * *

Четвертые сутки температура держалась выше нуля. Снег потемнел, набух. Дул сырой ветер. Оголились от снега стены домов, крыши, заборы, изгороди, навозные кучи, поленницы дров. Сизые тучи неслись на север. Провода раскачивались, свистели. Вышла из строя подстанция. Приходилось рано ложиться спать.

Октябрина Ивановна лежала, вздыхала, ворочалась, думала: «Двоек не ставишь — выслуживаешься, много ставишь — гадают, не дура ли. Живешь, как под микроскопом. А тут еще дровяная история. «Разные у нас люди. Но барышников еще не встречала. Подумайте. Не доводите до партбюро. Ведь вы учи-тель-ни-ца», — и директорша так улыбнулась ей, что лучше бы уж не улыбалась. Не было печали... Только надоумила своего, что можно бы дрова продать, не завозя домой, садику, например, или в любую столовую, а он вон что отмочил! Заставь дурака богу молиться — он и лоб расшибет. Расшибал бы свой! Нет же, все шишки на нее... Конец четверти, без того вымоталась. Хоть бы каникул дождаться!

...А дрова под окошко свалили. Теперь не продашь. Складывать тоже некуда. На пятилетку запас. Хоть ешь. А и привезли как-то не по-настоящему. Быстро. Молча. Тракторист даже на чекушку не попросил. Да Ипатьев с дружком своим все крутились возле. Этим-то чего надо? Ну, спать, спать пора. Тетради опять не проверены...»

Эта мысль заставила ее постараться уснуть. И в полудреме уже услышала, будто по стеклу что-то чокает: «чок-чок».

— Ну-ка, встань, посмотри, — подтолкнула мужа. — Стекло бы не разбило.

Тот подошел к окну, раздвинул шторы, приник лицом к стеклу.

«Чок!» — прямо против его носа мелькнуло что-то черное. Отпрянул. «Чок-чок!»

— Черт возьми, это не ветром!

— А чем же еще?

— Черт знает чем! Может, Ипатьевым твоим.

— Ну-ка, выйди! Выйди! — Октябрина Ивановна встревоженно оперлась на локоть.

Никон Петрович накинул полушубок, надел валенки с галошами, взял полено.

Витька со своим другом Упрямовым Сашкой видели, как Пыжик выбрался из дома, покрутил головой, высматривая их. Но они надежно прятались за черным забором. С полчаса уже прошло, как Сашка закрепил гвоздь над окном Пыжиковой спальни. К гвоздю на ниточке был привязан болтик с запиской. Он покачивался на уровне верхнего стекла. Дальше нитка тянулась через дорогу к укрытию. Знай подергивай. Но они бы, конечно, дали Пыжику покрепче уснуть, да сигареты кончились. А так скучно и продувает. Вот и начали операцию. «Чок-чок», люди добрые! Как спите? Хорошо? Ну, конечно, вы люди честные. А кто тогда кулаки? «Чок-чок!»

Пыжику, наконец, надоело таиться, он подскочил к окну и схватил болтик. Почувствовал, куда тянется нитка, бросился к забору. Но дружков как ветром сдуло.

— Еще подойдете — ноги выдергаю! — крикнул он вслед беглецам, выматюгался, плюнул и пошел в дом. Октябрина Ивановна зажгла лампу.

— На, читай, — сунул ей бумажку. — Депеша. Срочная. Тебе.

Она развернула записку.

Чижик-пыжик, где ты был?
Каково продал-купил?
Засоли свои дрова,
Ой ты, дура-голова!

Октябрина Ивановна заплакала. Пыжик схватил бумажку. «Ну, гады, завтра на дому башку отверну!» — зашипел он.

— Вот-вот. Только этого и не хватало! Мало еще

ославил, — сквозь слезы сказала Октябрина Ивановна. — Нет уж, нету толку, так не дашь. Дуболом! Вздумай только! Завтра чтоб дрова были прибраны! — приказала она и задула лампу.

* * *

В школе Октябрина Ивановна сделала вид, что ничего не произошло. Ребята похихикали да перестали. Ипатьева она по-прежнему не переносила, но делать нечего. Не век на него любоваться.

Еще до каникул она дала классу домашнее сочинение «Мой жизненный идеал». Договорились, что напишут, на кого хотели бы быть похожи и почему. На этот раз Витька сочинение сдал в срок. Он знал, что если по правилам, так сидеть ему и сидеть в восьмом до морковкина заговенья, как бабка говорит. Он бы, конечно, позлил Октябрину Ивановну, но, во-первых, открыто это делать боялся, а во-вторых, поскорее хотелось разделаться со школой. Всей душой он теперь был с Сашкой Упрямовым. Тот в прошлом году окончил восемь классов, учился в ГПТУ. Часто наведывался домой. Высокий, штаны расклешены, на гитаре бант и разные наклейки. Во парень! Даже записку Пыжику не сам писал, а Сашка. Потому и вышло грамотно. Зато текст сам придумал.

В сочинении он написал правду. Не всю, конечно, но для Октябрины Ивановны и того хватит.

«У меня есть хороший друг. Он живет далеко. Он учится в училище и играет на гитаре. А еще ходит в секцию бокса. Он будет квалефецированным рабочим. Он любит мастерить и петь. Мы с им делаем лодку. Он добрый. Всем дает когда чего нет. Я тоже хочу в училище, но не знаю, — тут Витька подумал-подумал и поставил запятую, — здам или не здам. Вот мой ыдеал».

При разборе Витька понял, что сочинение подействовало.

— У тебя прекрасная мечта, Ипатьев. Я очень хочу тебе помочь. Но изволь слушаться и точно выполнять мои указания. Про Павку Корчагина все помнишь? — строго спросила Октябрина Ивановна.

— Все, — сказал Витька.

— Хорошо. Тогда пиши... — нет-нет, сверху, с красной строчки: «Мой жизненный идеал, и-деал». Написал? Теперь посредине строки — «сочинение».

Она знала семью Сашки Упрямова и диктовала свободно. Витька даже удивился.

— Он будет квалифицированным рабочим, — медленно повторяла Октябрина Ивановна. — Нет, не пиши квалифицированным. Пиши: он будет хорошим рабочим. Стране нужны умные машины. Я буду их делать с моим другом. Это мой жизненный идеал. Нет, вот так лучше пиши: Это цель моей жи-зни, — вытягивала она. — Написал?

— Ну.

— А теперь дай проверю. Потом выучишь. Каждый день с утра учи, если хочешь выдержать экзамен. Кстати, твой друг — это Упрямов?

Витька молчал.

— Можешь, конечно, не говорить. Но ведь он не так уж хорош. Занятия прогуливает, курит, как взрослый.

Она пристально смотрела на Витьку, будто ожидая возражения.

— Выпивает, говорят?

— А у вас силы воли нету, — сказал Витька.

— Что-что? — опешила она.

— А зачем выспрашивать? И так знаете, — прерывисто и храбро упрекнул он.

Октябрину Ивановну всю залило краской, но она не дала себе воли.

— Ох, Ипатьев, Ипатьев! — сожалеюще покачала головой. Хотелось закричать на него, выругать. — Ох, Ипатьев, Ипатьев... Ладно. Не забудь выучить. Иди...

Перед самым экзаменом Витька выслушал еще не один инструктаж, как любую тему можно повернуть на свое. В дополнение к прежним указаниям ему было запрещено употреблять союзы, кроме а, но, что. Перед экзаменом Витька чувствовал себя почти спокойно. Он сразу понял, какую ему выбрать тему, и стал писать. Октябрина Ивановна несколько раз проходила мимо, косила глаза на черновик. Витька принимал независимый вид, но сердце у него билось чаще, слух обострялся до предела. «Та-ак», — слышал он ее довольный шепот.

Витьке было радостно, что все получается хорошо, и улыбка нет-нет да и появлялась на его еще по-детски припухлых губах.

Во время проверки сочинений в класс вошел Алгоритм.

— Не возражаете? — спросил он Октябрину Ивановну, выбрал одну из работ и быстро пробежал глазами.

«Павка Корчагин всю жизнь отдал за нас. Время было такое трудное. А мы с другом еще не совершили подвигов. Но Родина у нас одна. Мы идем к своей цели. Мы защитим Родину и зделаем ее счастливой».

— Хм, — иронично-вопрошающе посмотрел на Октябрину Ивановну. Она выдержала взгляд.

— Хм. Самостоятельно мыслит. Интересный поворот. Поздравляю. И что же намерены поставить?

Октябрина Ивановна трижды машинально стукнула пальцем в столешницу.

— Тройку? Но за что? За отход от темы? За единственную ошибку?

— Это итог работы. За всю работу, — убедительно и спокойно произнесла она.

— Перестраховываетесь? — более серьезно спросил Алгоритм.

— Если хотите — да! Вдруг в техникум вздумает? Разочарование в этом возрасте опасно, — сказала Октябрина Ивановна.

— Н-да? Спасибо. Разъяснили. Не буду мешать.

И он быстро вышел из класса.

...Потом были другие дни, был выпускной вечер с лимонадом, разговоры с родителями, благодарности, выдача документов. Правда, почти у всех выпускников свидетельства об окончании восьмого класса собрали снова и заперли в директорский сейф, только у нескольких человек, в том числе и у Витьки, документы остались на руках.

Сашка опять был в «отгуле» и крутился около школы. Его за общий стол не позвали. Витька тоже не пошел. За поленницей они «раздавили» бутылку «Вермута». Посидели, покурили и пошли в клуб на танцы.

Октябрина Ивановна в этот вечер пребывала в благодушном состоянии. У нее уже начался отпуск.

ВОЛОСЕНОК

— Слушай-ко, Петр Игнатьевич, что же это будет-то? — Зинаида обрадовалась, что перехватила учителя сына возле своего дома: в школу-то сбегать недосуг.

— А в чем дело? Что случилось? — Петр Игнатьевич

подошел к калитке, где стояла Зинаида Волосова, колхозная доярка.

— А ничего, по-вашему, да? Парень неделю в школу не ходит — и всем даром? «Третий день, говорит, блины пеку — только сегодня посолить не забыл».

Петр Игнатьевич улыбнулся.

— Чего смешного-то, чего? Уж куда смешней: вместо школы — у плиты. Как хотела в техникум отдать, так ведь нет, уговорили. Сами пороги-то обивали!

— Так он же не стрижется. Хоть кол на голове...

— А вы что, стриженых и учите, да? Вон Кретов да Обрядин — что, стриженые? Чище одеты, чище вымыты? Тут еще бабка надвое сказала. Парень мыт-перемыт, в квартире титан поставил, ванну сделал, дров наладил, чистится, гладится, у зеркала вертится, а тут, милушки, в школу не пускают! Кто это такой порядок-то выдумал?

— Как кто, как кто? — Петр Игнатьевич и в самом деле не знал, кто. — Да знаешь, Зина, у нас скоро комиссия! Да знаешь, что с нами сделают? Да... — он хотел еще что-то добавить.

— Да уж не посадят вас в первый класс! Эдаких ученых-то.

— Ну уж, Зина, давай без оскорблений.

— Без оскорбле-е-ний? А кто моего-то парня «волосенком» прозвал? Ну, кто?

— Уж не я ли, думаешь?

— Думаю не думаю, а ухватом парня в школу прогнать не могу. Парню семнадцать годов, бывает, женятся в эту пору — на тебе, «волосенок»!

— Полно тебе из-за чепухи-то расстраиваться. Шутка же это. Фаина Гурьевна провела на уроке рукой по его волосам да и говорит: «Эк ведь сколько на тебе волосенок!». А ребята и подхватили. У них же ассоциативное мышление, — выделил он слово «мышление». — Раз фамилия Волосов — вот и волосенок.

Верно, на уроке так и было, только в учительской Фаина Гурьевна с улыбочкой смаковала, как это она ловко прищемила Волосова: и обозвать — обозвала, и оскорбить — не оскорбила.

— Хороши шуточки! А того не понимаете: обругай корову — та тебе молока не даст. Ко-ро-ву, понимаете? Понимаете вы, как же...

— Да чего тут понимать-то? Думаешь, у меня прозвища нету? — сказал Петр Игнатьевич.

Зина чуть улыбнулась. Она помнила его прозвище: «десятиколенный». Невелик бы вроде и ростом — метр девяносто, — а развинченный весь какой-то, нескладный, тощий. Видела раз, когда на дойку шла, как он в своем «Запорожце» тестя на базар вез. Глазищи-то на дорогу выпучил, коленки до руля достают, одной рукой правит, а другой стекло протирает снаружи...

— Смотри лучше за его учебой. Фаина Гурьевна жалуется: не учит ничего. Наизусть ни разу не отвечал. Как ни спросит — отказ. В журнале одни точки, — прервал ее мысли голос Петра Игнатьевича.

— Ну-у? А чего учить-то надо? — забеспокоилась она.

— Есенина, Маяковского, еще кого-то — не помню.

— Ой, дак это уж Фаина Гурьевна врет. Соберутся с друзьями — Есенина поют не хуже Покровского. И это: «Клячу истории загоним! Левой-левой-левой!» — аж стены дрожат. Ну и магнитофон крутят, конечно. Только тут я двери закрываю в их комнату.

— Так почему же он на уроке-то не отвечает?

— А чего ему выскакивать-то? Это за тройку-то? Не на сцене ведь. По себе помню. Выйдешь, промямлишь поскорее. А чего выкладываться-то? Стыдно: все свои. Что они, не знают, какой я чтец? Она и мне тоже за наизусть всегда тройки ставила, — сказала Зинаида о Фаине Гурьевне.

А Петр Игнатьевич смотрел на нее заинтересованно. «Да, пополнела Зинуха. Вон какая широконькая». Когда-то он еще жениться на ней подумывал. Ладно, будущий тесть обратал: зазвал, накормил-напоил, подсунул свою образованную, оженил, на заочное перевел: стыдно, сказал, учиться после армии очно, в отрыве от семьи.

— А на сцене, помните, — перешла Зинаида на вы, — я читала? Неплохо же?

Она действительно читала стихи со сцены и совсем неплохо. Но пришлось уйти из клуба на ферму, когда погиб муж. В одно туманное утро он резко крутанул руль машины, чтобы не сбить лося, вышедшего на дорогу, и его выбросило из кабины на кучу бетонных пасынков.

— Почему так происходит с учебой у сына, можете вы мне объяснить, Петр Игнатьевич?

— А чего объяснять, это ж обычно, что к старшим классам интерес к учебе у детей снижается.

— Вот я и спрашиваю, почему? До восьмого чуть не отличником ходил. А с восьмого начал запускать.

— Да-а. Все верно. Так и есть.

— Есть, есть... Сама вижу, что есть, — с досадой сказала Зинаида. — Как же мы-то коров раздаиваем? Глядишь, обычная коровенка, а через год-другой не знаешь, как и запустить перед отелом. Дает и дает молоко. Тут не в одних кормах дело, тут и свет, и тепло, и соседство, и подход, и обстановка довольства и радости. А что? Коровы тоже радоваться могут.

Петр Игнатьевич все порывался что-то сказать, слюну сглатывал, по кадычку было видно. Вклинился, наконец.

— Ну и насмешила. Ты хоть больше-то никому не говори такой ерунды. Разве можно сравнивать: то коровы, а то люди.

— Вот именно: люди. А с чем мне сравнивать, если я только коров и знаю? Был бы сам-от жив, я бы тоже, может, институт кончила.

Ей сделалось так обидно, что не удержалась и совсем по-бабьи добавила:

— Подумай-ко сам-от, Петр Игнатьевич, лешой с тобой...

И без «до свидания» пошла от калитки к крыльцу своего дома, маленькая, усталая, в фуфайке и черных катаных валенках.

А Петр Игнатьевич еще некоторое время смотрел ей вслед и думал о том, что когда-то он очень любил эту женщину.

ИСТОРИЯ РАЗБИТОЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЫ

Памяти Б. В. Шапина

Пятиклассники сразу поняли, что Иван Михайлович увидел наспех затертое чернильное пятно на полу. Но он и виду не подал, только губами шевельнул. При своем хорошем росте он, входя в класс, все-таки умудрялся семенить, наклоняя голову направо, придерживая левой

рукой большой желтый кожаный портфель, в некоторых местах основательно потертый, служивший ему с тридцать девятого года, первого года учительства.

Голову-то он клонил, а его небольшие рыжеватые с косым разрезом глаза ясно видели весь класс, видели, как дожевывает Майка-великанша, как перекидывает тетрадь Телегин Михайлович Телегину Николаевичу. Михайлович — способный, Николаевич — прилежный. Телегин Михайлович сложил губки бантиком и спокойно встал. Телегин Николаевич быстро сунул тетрадь в парту, вскочил, замер, потом наклонился и медленно выложил тетрадь на парту.

«Успели Телегины. Учатся понемножку... очки втирать. Подправляют программу, на всех рассчитанную», — по-доброму усмехнулся учитель, сохраняя деловое выражение. Он отлично понимал, что тренировочное упражнение, которое ученики делали дома, весьма полезно Николаевичу и ничего не даст Михайловичу. Уж этому за седьмой класс впору осиливать.

«Уж, замуж, невтерпеж... Терпи, брат. Запрограммировано».

Учитель опять усмехнулся, бодро семеня к столу. Его нога в старом желтом ботинке ненадолго, но демонстративно зависла над пятном, потом переступила его.

Быстрая деловая походка учителя обычно отсекала перемену от урока. Сегодня рабочее состояние было особенно нужно, и на тебе... «Не заметить? Нельзя!» Иван Михайлович положил, как обычно, портфель на правый угол стола, выпрямился и вместо «здравствуйте» сжал губы так, что стали видны скулы его лица.

Все поняли непрозвучавший вопрос, несмело переглядывались друг с другом, переводили взгляд с лица учителя на пятно.

— Так никто ничего и не скажет?

Почти все опустили головы.

— Здравствуйте! Садитесь!

И урок начался. Иван Михайлович строго спрашивал домашнее задание, неожиданно для всех поставил «двоечку с улыбочкой» отличнице Бариновой за несколько ответов невпопад, хлопал в ладони и улыбался, когда кто-нибудь попадал впросак в игре «Подбери нужное слово».

Ребята на уроке старались, чувствуя свою вину. По команде «встать!», прозвучавшей вместе со звонком, все

с облегчением вскочили, но «урок окончен!» не последовало.

— Так никто ничего и не скажет? — спросил Иван Михайлович с выражением, какое было на его лице сорок пять минут назад.

Молчание могло быть долгим. Иван Михайлович отлично понимал, как дорога для ребят перемена. Сколько бы чернильниц ни разбили, все равно перемена дороже.

— Кто будет мыть пол?

— Наша очередь, — вышли из-за парты смуглолицая Баринова и Майка-великанша.

— Хорошо. Но... вы взрослые люди, — сказал он спокойно,— и знаете, что чернильниц-самоубийц не бывает. Поэтому... Сегодня понедельник? Вот к следующему понедельнику и напишите мне... напишите мне... сочинение... — он подошел к доске и крупно, своим неповторимым почерком вывел: «История разбитой чернильницы».

Вернулся к столу, взял под мышку портфель и быстро вышел из класса, по-обычному наклоня голову.

...Прошла неделя. Закончились уроки. Закончилось заседание методического объединения. Начинались ранние синие сумерки. Иван Михайлович шел к дому по тропке, пробитой в снегу вдоль березовой посадки. Ветки деревьев чуть покачивались, холодно касаясь друг друга. Иван Михайлович смотрел под ноги, вдыхал морозный мартовский воздух, придерживая под мышкой незастегнутый портфель, набитый тетрадями. Сегодня пятыши, как он их называл, сдали свои «истории», и ему не терпелось сесть за стол, погрузиться в привычное состояние недовольства собой, детьми, учительской долей и аккуратно помечать на полях тетрадей те строчки, в которых есть ошибки. Сегодня на методическом объединении Иван Михайлович делал доклад на тему «Обучение учащихся пятых классов творческим работам». Выложил коллегам все, что знал сам, что знали другие, судя по книгам и журналам по этой теме, особо обратив внимание на подготовку к таким работам самих учащихся, что вызвало легкие улыбки на лицах коллег. Он видел все это, понимал, что всяк будет «творить» по-своему, однако добросовестно закончил доклад, не опустив ни одной фразы.

Через полчаса Иван Михайлович уже сидел за своим рабочим столом в узкой с одним окном комнате. Он до-

стал из портфеля стопку тетрадей, подровнял ее, задумался, с которой начать. Все-таки это первый случай, когда писали без подготовки, да еще на тему о разбитой чернильнице. В течение недели к нему подходили и председатель совета отряда Баринова, и Телегин Николаевич, и другие. «Помилуйте, что же могу я вам подсказать?» — изумлялся Иван Михайлович.

В нескольких тетрадях не обнаружилось ничего интересного: нас не было в классе, мы не видели, и так далее. Баринова же начала издалека, как в сказке: вот жил, мол, песчаный холм, но не какой-то конкретный, а вообще холм, и вот его в самосвалы погрузили, и вот его на завод свезли, и там сделали из него много стеклянной посуды. В конце она подробно сообщала, как вопрос о чернильнице обсуждали на совете отряда, но так ничего и не выяснили. Просто решили чернильниц больше не бить.

«Целый реквием по чернильнице! Игра в справедливость. И состоявшаяся игра! До чего так можно докатиться? Ну-ну, старый моралист, чего на пятышку-то ополчился? Все равно ведь пятерку придется ставить».

Настроение Ивана Михайловича упало. В стопке осталось тетрадей восемь. Он уже не ждал встретить в них что-либо стоящее и машинально раскрыл следующую тетрадь. «Ленька» — стояло посредине верхней строки. Это была последняя творческая работа на тему «Мой любимый человек». Иван Михайлович оживился и снова стал читать уже проверенное сочинение.

«Ленька — это мой брат. Ему два с половиной года, но ростом он маленький, и ему можно дать всего лишь год («Можно дать!» — усмехнулся учитель). Он толстенький, как яблочко, румяный. Подбежит, схватит кошку за хвост и тащит по полу, приговаривая: «Киса, милая, холосая...». А кошка вырвется и убежит. Он заплачет и говорит: «Мама, дай мне гвозди, я буду дом делать». Снимет мать ящик с гвоздями, а он наберет полные горсточки да еще возьмет свой деревянный молоточек. Весь пол исколотит гвоздями. А после возьмет клещи и давай вытаскивать гвозди. Тащит и не может вытащить, надует щечки, чуть не плачет. Один раз постоял, постоял да и опять принялся тащить. А гвоздь не поддается. Он рассердился да как дернет! Гвоздь выдернул, и сам хлоп об пол! Не заплакал, знает, что сам упал. Другой раз сидел он у меня на коленях. Гвоздь и молоток в ру-

ках. Сидел-сидел, а после повернулся и хлоп мне молоточком по лбу. Весь лоб у меня покраснел. А он, как будто ничего и не случилось, говорит: «Миса, бобо?». Разве на него рассердишься?»

«Разве на него рассердишься?» — про себя повторил Иван Михайлович. Он и не знал до этого сочинения, что у Телегина Михайловича появился еще брат — «толстенький, как яблочко, румяный». Не зря на Михайловича похож. Тот нынче только начал вверх расти, а тоже славный был увалень. И Иван Михайлович вспомнил, как увидел Мишку в первый раз.

Это было в последний день августа около пяти лет назад. Он вышел промокший из лесу и огородами прошел в Телегино, как называлась эта деревня по фамилии жителей. Перелез через изгородь и увидел босоногого крепыша, волоком тащившего мокрый велосипед.

— Цепление сгорело, — объяснил тот незнакомцу.

Иван Михайлович помог мальчишке натянуть цепь, поддержал велосипед, пока толстячок просунул ногу под раму.

— Поехали-и! — крикнул мальчик и зигзагами проехал небольшой круг.

— А ты кто? — спросил он, остановившись.

«Охотник», — хотел сказать Иван Михайлович, но ответил:

— Учитель.

— Врешь, поди-ко. Поди-ко, ты мясо ходил искать. Нашел?

— Мя-со? Нашел... только ягоды. Крупная тут у вас брусника, спелая.

— Ври-ври, — мальчишка покачивал вверх-вниз головой. — За брусникой с корзинами ходят. А такие торбы, как у тебя, под мясо делают.

Учитель снял кожаный мешок с лямками и отстегнул верх.

— Бери... А как тебя зовут?

— Верно, не врешь, — мальчишка взял горсть ягод и бросил курицам.

— Как тебя зовут, а, космонавт? — переспросил Иван Михайлович.

Толстячок повернул голову в сторону изгороди.

— Как-как! Не знаешь, что ли? Как нашего кота. Видишь, по изгороди идет?

По верхней жерди осторожно вышагивал серый кот. Он шевелил усами, принюхивался.

— Васькой? — быстро и весело спросил Иван Михайлович.

— Не-а.

— А-а, Тимофеем, — важно сказал учитель.

— Не-а. Мишкой! — захохотал малыш.

При этом слове кот спрыгнул с жерди и головой потерся о Мишкину ногу.

— Нас три Мишки: еще Мишка у дяди Коли. Нас по одному рецепту в аптеке делали. А теперь рецепт в аптеке потеряли. А мне брата надо: драться не с кем. С Мишкой неинтересно: все вничью дак. А ты по тропке шел? — неожиданно спросил он.

— Нет.

— А сосенку видал?

— Много сосенок видал.

— А мою видал?

— Может, и видал, — поддержал игру Иван Михайлович.

— Ничего не заметил?

— Нет, не заметил.

— Вот молодец! Только за брусникой тебе и ходить.

— Почему? — искренне удивился учитель.

— Потому что потому все кончается на «у». Ты на сосенки-то не смотри, ты их руками трогай. Там есть которые не растут. Они пересажены. Я одну знаю. Ее как возьмешь, отставишь вместе с мохом, а там кадушка. Понял, где мясо-то лежит?

— По-нял, — удивленно протянул учитель.

— Только ты никому не говори, а то бабушка ругаться станет.

— Нет, что ты... В школу-то когда пойдешь? — переменил разговор Иван Михайлович.

— Долго еще, — отмахнулся Мишка. — Бабушка еще воды в котел не натаскала. Меня мыть будет! — важно добавил он.

— Ага, значит, завтра, да?

— Доживем, так завтра, — степенно рассудил крепыш.

— А охота тебе в школу?

— А тебе охота?

— Ну-у, мне-то, по крайней мере, надо.

— Вот и мне надо. А то обмошею, мохом зарасту,

бабушка говорит. Как дедушко: у него отовсюду мох растет. Белый, лывяной. Им окошки конопатят.

Иван Михайлович смеялся редко, привык сдерживаться. И сейчас, сдерживая смех, повторил:

— Значит, пойдешь?

— Так ведь и ты пойдешь...

...«Вот тебе и «пойдешь», — задумчиво откинулся на спинку стула учитель. — Как же я тебя научу-то? Индивидуальный подход? Развитие всех умственных и нравственных способностей? При сорока-то душах за сорок пять минут? Как сохранить тебя, именно тебя, твое простодушие, доверчивость? И как защитить при этом? Как научить защищаться? А, Мишка? Ну, подсказывай, пока не «обмошел». Давай свою «историю»!

«Иван Михайлович! Разве Вы не разбили ни одной чернильницы, пока учились в школе? Ведь мы же не умышленно ее разбили, а случайно. Мы и сами толком не можем разобрать, кто разбил?»

Учитель улыбнулся, ему приятно, что Мишка у него душу ищет. «Давай-давай, Мишка, сними сосенку, покажи, где мясо спрятано!».

«Но, может быть, что и виновник, разыгравшись, не видел этого. А может быть, и я разбил ее! Тогда я предлагаю собрать по копейке и вымыть пол».

Вот и все. Очень просто. Чего же ты ищешь, никак не успокоишься? Даже Мишке ясно: «собрать по копейке и вымыть пол». Ну, пол-то уж вымыт. Золой оттирали. Чище прежнего стал. Чернильницу заменили. Не надо и по копейке собирать. Да и вообще скоро шариковые ручки в ходу будут...

Выходит, исчерпан инцидент. Стоило ли огород городить? Ребята-то, пожалуй, правы, практичнее думают...

Иван Михайлович закрыл тетрадь. Жена в который уже раз заглядывала в комнату:

— Два раза ужин разогревала. Идешь или нет?

— Иду-иду, — ответил Иван Михайлович и пошел мыть руки.

ТРУБА

Галина Сергеевна сидела на изрезанной зеленой скамейке около заводской стены под вывеской «Место для курения» и плакала.

Перед ней торчала врытая в землю бочка с зеленой

водой, в которой плавали разбухшие окурки. Погода была парная, тяжелая. Грозы — едва ли, но дождика можно ждать в любую минуту.

Только что главный инженер завода сказал ей раздраженно, что зря она ходит, просит, уговаривает, что никакую трубу он ей делать не будет, что у самого людей не хватает. Не зря из Ленинграда прислали десять слесарей, чтобы справиться с ремонтом.

— Нечего больше ходить. И директора не добивайтесь. Он скажет то же самое. Занимались бы своим делом — больше проку было. Второй день здесь торчите, — извините, пожалуйста. Ведь вы врач. Ведь у вас же там очередь. Больные, понимаете? Вот где ваша забота, а уж никак не труба. Если будем так работать — все в трубу вылетим. Мне больше сказать вам нечего.

— Ну что ж. До свидания, — проговорила Галина Сергеевна и по гулкой железной лестнице вышла на улицу. Теперь вот сидит в курилке, не замечая этого, не зная, что ей делать. А ведь сколько хлопот было! Почти год как белка в колесе! На пятиминутках сотрудники смеяться начали. Вместо «история болезни показывает» однажды ляпнула: «история с кирпичом показывает». И вот, оказывается, все впустую. Коробка готова, котлы смонтированы, уголь завезен, батареи навешены, а печи все стоят. Стоят! Вдруг еще зиму с печами жить? А чем топить, углем? Дров не запасли. Все деньги по смете на уголь ушли. Самое время подхихикивать. Думалось, как лучше, а вышло... Бездарь. Тупица. Влипла — не выпутаться. Больно покладиста. Силой бы не заставили. Звание прельстило? Главврач? Главзавхоз на деле. Ну и предрик хорош. Другой бы предостерег, а этот будто заманивал.

— Нет, нет, Галина Сергеевна, отказов не принимаем. Нам тут жить. Это наша доля. Коммунизм надо строить не где-то, а в наших деревнях, селах, на полях. И никто за нас ничего не сделает. Помните, в школе спорили, каким будет наше село через десять лет? Нет? А мы мечтали. Как только не растекались «мыслию по древу»! Сейчас вспомнишь — стыдно становится. Отрабатывать надо, а? — он вопросительно посмотрел на нее.

— Я думаю, надо вам оседать крепко. Отзывы о вас хорошие. Опыт придет. Но ломайте косность! Ломайте косность! — надавил он. — Берите все новое! Завтра поезжайте за приказом. Все согласовано.

Галина Сергеевна чувствовала себя не то чтобы робко, а как-то скованно. Предрика она знала с детства. Ей нравился его напористый нрав и даже округлость его нравилась. Энергия жила в этом клубке. В школе не одному поколению выпускников ставили его в пример. После института он попросился в свой район, быстро стал главным агрономом совхоза, а потом был выдвинут на руководящую работу. Солидная внешность, вдумчивое обхождение нравились людям, напористость подкупала начальство.

— Боюсь, — со вздохом, но и с улыбкой ответила она. — С лечебной работой как будто справилась бы. А вот с хозяйственной... Строить ведь надо. С довоенных пор серьезного ремонта не было.

— Ну, строить — это не ваша забота. А завхоз у вас крепкий. Вы прислушивайтесь к его советам. Но спокойной жизни не будет. Не ждите.

И верно: месяца не прошло, как вызвал снова. Вышел из-за стола, усадил. Глаза веселые, улыбка на лице.

— Как привыкаете?

Галина Сергеевна рассказала все как есть.

— Хорошо, хорошо, только вот профилактику травматизма надо усилить. Ну, это в рабочем порядке. А вот разминка ваша кончилась, — доверительно сказал он. — Большое дело надо сделать. Конечно, большое лишь по нашим масштабам. Заодно и опыта наберетесь. Появилась возможность, — сделал паузу, — весь больничный городок перевести на центральное отопление. Довольно мерзнуть. Довольно сору, лому, хламу! Сколько площади освободится из-под печей!

— Да? Вот это бы здорово! А кто делать будет? — обрадованно встревожилась Галина Сергеевна.

— Как кто? Ты да я, да мы с тобой, извините за фамильярность. От меня первый взнос: выбил котлы, получайте. Завтра приедет товарищ делать проект и смету. Здесь он, конечно, только посмотрит, а делать будет у себя в институте. Для сведения: женат, не пьет. Интересуют только деньги. Предварительно мы говорили. Придется давать, сколько запросит. Плюс командировочные.

— Какие, за что?

— Ему же придется раза три сюда приезжать.

— Но ведь это в его интересах.

— Но и в наших, так? Не мелочитесь. Вы же теперь деловой человек, — втолковывал с укором, как маленькой. — Короче, так: наряд на кирпич получите, на сталь надо срочно давать заявку, — и он почти продиктовал виды работ, сроки, материалы. — А кто будет делать? Видимо, шабашники, волки. Да, волки. Наши коммунальники сделают какую-то часть. Остальное — волки. С ними — договора! И контроль. Ох, какой контроль! Завхоз чтоб ни на шаг от них.

Галине Сергеевне было и радостно, и страшно. Надо же: у них в больнице будет тепло, чисто. Не надо бояться угара, ругаться с истопниками. Будет, а когда?

— А когда же мы это сделаем?

— К следующему отопительному сезону — кровь из носу, как говорят.

* * *

...Подошел автобус. Галина Сергеевна вошла в него, даже не зная, куда, собственно, теперь ехать. «Надоело. Все брошу. Сейчас позвоню начальству, скажу: наказывайте, увольняйте — что угодно делайте! Я вам не толкач и не жестянщик, я деквалифицируюсь». — «А вас, — скажут, — в толкачи никто и не нанимал. Вы помните формулировку в приказе? Назначить главврачом. Вот и думайте, соответствует ли эта формулировка вашим, извините, занятиям. Мы приказ пока изменять не намерены. Исполняйте ваши прямые обязанности. А для хобби найдите другое время!»

«Хобби... — обиделась Галина Сергеевна. — Ах, хобби? Да знаете ли вы, уважаемая, что без этого «хобби» жить нельзя, работать нельзя? «Заслуженную», небось, не за так получила? Сама в глуши маялась?» — спорила она сама с собой, машинально протискиваясь к передней площадке.

«Знаю, конечно», — усмехнулась она, и, поддавшись потоку, спрыгнула на асфальт.

Шедшие впереди двое мужчин повернули к новому большеоконному зданию из силикатного кирпича. «Районный комитет КПСС», — прочитала Галина Сергеевна. «Хуже не будет!» — подумала она и вошла в здание.

— Вы к кому? — спросила ее дежурная с яркими пухлыми губами. «Чего сидит тут, работы, что ли, не найти?» — неприязненно подумала Галина Сергеевна и, не отвечая, прошла на второй этаж. Шла, внимательно

глядя на таблички, как вдруг очередная дверь распахнулась, чуть не стукнув ее, и выпустила остролицего молодого человека.

— Извините, — сказал он. — Вам кого?

— Наверное, вас, — неожиданно зло вырвалось у нее.

— Спешу, но, вкратце, в чем дело?

— Вкратце? Бюрократы заели. Оборочка с иголочки, а зашит бюрократ.

— Где? Давайте распорем, поглядим.

— На механическом, заказ не берут.

— Какой заказ, кто? — Смотрит заинтересованно.

Объяснила.

— Вам действительно ко мне. Иван Петрович, — поклонился он, — зав. промышленным отделом.

— Галина Сергеевна, просительница, — с полуулыбкой представилась она.

— Ну что, скромная просительница, едем пороть бюрократов? Я как раз туда в партком.

— Едем! — повеселела Галина Сергеевна.

Сбежали к подъезду. Эта собачья трусца по ступенькам взбодрила как-то, вроде умывания подействовала.

— А вы хирург? Терапевт? Кто? — спросил он в машине.

— Хирург. По аппендицитам, — смущенно и нарочно откровенно добавила Галина Сергеевна.

— А, гнойнички-жировички? Как раз то, что надо.

— Чуть посерьезней случай — отправляем к вам, в городскую, — обиделась она.

— Ну, в нашем случае, надеюсь, болезнь еще не застарела... Трудно у них, понимаете? Осень затяжную обещают. Вся надежда на технику. А заказы не по профилю. Производственный процесс модернизировать надо. Так одно за другим и накатывает: надо, надо и надо, — уже серьезно говорил Иван Петрович.

— Да-а, — вздохнула Галина Сергеевна.

Помолчали.

— А если «операция» не удастся, выше пойдете? — спросил он.

— Пойду.

...Сразу за проходной на бетонной дорожке встретили директора. «Поджидал, что ли? Конечно, поджидал. А тут два дня не могла поймать. «Нету». «На совещании». «Не знаем». А по виду и впрямь директор: высокий рост, волосы охапкой, седые, а брови черные, как

мазки. Вот сочетание! Видать, для доброго поста природа готовила. Пыльник бежевый, туфли отовечивают. Это ли бюрократ? Зануда? Робковато даже».

— Здравствуйте, Иван Петрович! — ответил директор на приветствие. — Здравствуйте! — поклонился и ей. — Значит, и вас, Иван Петрович, в свою веру обратила?

— Догадался, догадался, — в ответ на ее изумление улыбнулся он.— Не думайте, не подсматривал,— заигрывал директор. — Ходатаи одолели: и производственный, и секретарь парткома, и главный наконец. Все за ва-ас! Ну, первым отказал, а последнего выставил. Нас когда-то учили: тебе надо — плачь да проси, у тебя просят — реви да не давай! — грубо закончил директор.

«Кривляка», — ожесточилась Галина Сергеевна.

— Значит, труба трубе? Нет выхода? — прищурился Иван Петрович.

— Есть. Насколько приемлем, не знаю, но есть. Вот какой. Мы шефствуем над «Северянином» из Залесья. Так вот, согласны выполнить их заказ, — кивнул в сторону просительницы, — в счет шефской помощи этому совхозу. Кто с кем будет договариваться, не знаю. Будет письменное согласие — будет и труба. Подходит?

— Подходит? — как бы перевел его вопрос Иван Петрович.

— Дда, нно...

— Верно. Не домой же вам за бумажкой ехать. Вот что: идите в управление сельского хозяйства, если нужно, они свяжутся с вашим руководством, — посоветовал Иван Петрович.

— Хорошо. Спасибо. Спасибо, Иван Петрович.

— Желаем успеха.

И они дружно, как показалось бы со стороны, углубились в другой разговор.

Галина Сергеевна остаток дня провела на ногах. Побывала и в управлении, и в тресте совхозов, пока наконец ей не было сказано: «В принципе мы не возражаем. Но вопросы шефства, соцобязательств решает профсоюз. Идите к Тиберию Ивановичу. Он, конечно, не Гракх, но тоже — хе-хе — народный трибун».

* * *

«Народный трибун» сидел в уютном кабинете с новенькой мебелью. Ремонт продолжался только в комна-

те секретарши, но ее там не было. Поэтому Галина Сергеевна прошла прямо в кабинет. Тихонько поздоровалась, чтобы не помешать телефонному разговору. Но Тиберий Иванович был увлечен:

— Да, сейчас с Москвой разговаривал. Да, конечно, с ним. И знаешь, что он между прочим посоветовал? Командует, как прежде, но намек дал. Помнишь, говорит, Маморова? Помнишь, как его поперли за ту ресторанную историю? Ну когда на спор сувенирным лаптем щи хлебал? Ха-а. Его в горотдел — хлоп! Замом по политчасти. А там же, понимаешь, субординация. Пояс не распустишь. Встречает его начальник горотдела. А он в вышитой рубахе. «Когда, — говорит, — товарищ Маморов, будете носить форму?» — «Майора дадите — спать в форме буду!» — ответил. И дали ведь. Так что дерзай, если в нашем деле это еще возможно! Привет! — он уважительно положил трубку.

— Э-э-э, — удивился, вдруг увидев Галину Сергеевну. — Вы ко мне?

Галина Сергеевна кивнула.

— По какому вопросу?

Она стала ненавязчиво и мягко излагать суть дела, мелкими шажками приближаясь к столу. Сначала она видела только зеркальную лысину и узкий лоб в морщинах, а потом разглядела и глубоко запавшие бусинки круглых маленьких глаз.

— Сумма?

— Какая сумма?

— Стоимость сметная вашей работы.

— Девятьсот шестьдесят три рубля семьдесят копеек.

Выражение лица у Тиберия Ивановича осталось прежним, но бусинки дернулись, будто кто-то хитренький метнулся прочь.

— Нет, вы понимаете, на что вы меня толкаете? Присядьте, пожалуйста. Да-да, вот сюда... Газеты читаете? Улавливаете хотя бы общий настрой, а?

— Думаю, что улавливаю.

— Ну вот, и хотите, чтобы я распылял силы и средства? Чтобы я оказался тем, в кого можно ткнуть пальцем: вот кто любит канадские пироги? Нет, мы не можем есть чужой хлеб. Не можем. Мы сконцентрируем все силы, привлечем пенсионеров, школьников, а своего добьемся.

— Тиберий Иванович! — перебила Галина Сергеевна. Отказ ее обескуражил, но от его ораторства стало полегче.

— Тиберий Иванович, — мягко повторила она, выискивая нужный тон. Она не знала, что сотрудники между собой называли его попроще: «Гай Иванович». — Я с вами вполне согласна. И только хочу, чтобы рабочие были здоровы. Быстрей бы излечивались. У нас одна цель, и настрой один. Я просто рада, что мы выяснили это.

— М-да-с? Конечно... вы молоды, и вам лишь кажется, что вы постигли положение в полном объеме. Вы романтичны, — он прикрыл веки, будто мешочки затянул, — а мы трезвые практики, — и бусинки глаз выкатились снова. — Возможно, читали у Владимира Ильича о борьбе за каждый пуд угля, каждый пуд хлеба? Вы понимаете: каждый! То есть, поясню, тот, который должен быть добыт, собран не завтра, не возможно добыт, а взят именно сегодня, именно сегодняшними силами и средствами.

— Странно, а мне казалось...

— Вот в том-то и различие наших целей и нашего настроя. Вам казалось... Вы усвоили общие принципы гуманизма. Но и земцы были в известной мере гуманистами. Кстати, не земцы ли построили вашу больницу?

— Да. В тысяча девятьсот восьмом. И, кстати, с водяным отоплением. До печей-то уж потом дожили.

— Вот видите: революция побеждена, партия в подполье, Ленин собирает новые силы, а ваши земцы строят парилку в лесу.

— Почему мои? Почему парилку? — загорячилась Галина Сергеевна. Она чувствовала всю глупость и пустоту этой беседы. — Хотя в какой-то степени и мои. Мой дед проработал в этой больнице свыше сорока лет. Орден Ленина заслужил! Так что я настрой понимаю правильно.

— Конечно, теория, мой друг, сера, но древо жизни пышно расцветает! Износились, говорите, земские трубы, как и их теория?! Не на том фундаменте строили. Абстрактный гуманизм, сострадание — пыль. Вы знаете, что все это сметено еще Октябрем. А сейчас механизация, мелиорация, химия — вот фундамент. Все си-

лы — в него, все средства — в него! На этом фоне ваша труба — несерьезно, простите.

— Спасибо за беседу. Не хотелось бы, но приходится прощаться. Жаль, что товарищи из райкома обнадежили меня. Сказали, что вы поймете, — не вполне честно добавила она. — Иван Петрович просил сообщить ему об итогах.

Бусинки опять метнулись и замерли.

— А разве не пойму? Вы уж, поди-ко, бюрократа мне пришили? Теперь ясно. Партийные органы зряшному делу не дадут ходу... А вообразите-ка, — и снова кто-то хитренький выглянул из глаз, — вообразите-ка: приходит к вам молодой человек и говорит: «Я привез больного. У него гнойный аппендицит. Оперируйте, ради бога, срочно, немедленно, при мне!» Вообразили? Тогда что вы хотите от меня? Ведь вы тоже бы прежде, чем оперировать, поставили диагноз. Иначе мы с вами больших бед натворили бы. Больши-их бед! Итак, сколько?

— Девятьсот шестьдесят три семьдесят.

Тиберий Иванович порылся в бумагах, что-то попи сал минут пять, потом, видимо, надавил кнопку вызова, так как вдруг появилась в дверях женщина с вопросительным выражением на лице.

— Отпечатайте сейчас же! На фирменном бланке, — он подал ей бумагу.

— Вот видите, к чему приводит незнание обстановки. Вам бы сразу ко мне. Да-с, коммуникабельность хромает. Прямого общения мало. Больше видим бумажку, чем человека. Что с бумажки возьмешь? Дело и дело. А подоплеку его, политическую суть, знаете, не всяк сразу схватит, — сказал он Галине Сергеевне.

Вошла секретарша.

— Вот и отношение готово. Великое дело — понимать человека!

Галина Сергеевна терпела, но ой как трудно было терпеть. Ай да трибун! Как иголка в руках проворной хозяйки: нашим — вашим, нашим — вашим. Лучше уж прямой отказ, чем такое липучее согласие.

— Мне приятно вручить вам этот документ. Закончите стройку — руки развяжутся. Рад, что удалось помочь. Здоровье трудящихся — кровное дело медицины и профсоюзов. Заходите при случае. Желаю удачи, — и проводил посетительницу до дверей.

На завод ехать было поздно. Галина Сергеевна отправилась в Дом колхозника.

Наконец-то пошел дождь, теплый, спокойный. Гром урчал неблизко, урчал солидно, по-доброму.

В комнате на троих, где она жила эти дни, никого из соседей еще не было. Она раскрыла сумочку, достала сложенный листок. В отношении значилось, что поименованная организация не возражает против изготовления РМЗ стальной трубы для Залесской ЦРБ в счет обязательства по шефской помощи совхозу «Северянин» того же Залесского района в сумме 800 (восемьсот) рублей».

«Слюнтяй! Микроб! Ничтожество! — бушевала Галина Сергеевна. — Демагог! Двурушник! Что теперь: на сто шестьдесят рублей трубу короче делать? Ну, ничего, голубчик, не открутишься. Главное, диагноз известен. Как раз по моей специальности».

* * *

Но утром она отправилась все же на завод. Главный инженер сунул отношение в сейф, не взглянув на сумму.

— Калькуляцию сами будем делать.

Он передал Галину Сергеевну с рук на руки старичку-инженеру из производственного отдела. Тот протер платком слезящиеся глаза и углубился в документы.

Дело, кажется, пошло на лад. Она только недоумевала, зачем еще здесь сидеть. Пора домой, пора!

— Милая-а-а, — вдруг протянул старичок. — Сколько осталось-то? До лета?

— Что «осталось»? Почему до лета? — насторожилась она.

— А потому, — сказал старичок, — что больше твоя труба не выстоит. Прогорит. А труба прогорит, и ты погоришь. Сделать мы сделаем, а ты подыскивай себе другое место. Заранее.

— Но я не собираюсь ничего подыскивать. У меня дом, семья, родители, — обиделась Галина Сергеевна.

— Вон что-о! Местная, значит? А я думал, срок отбываешь, отрабатываешь за хлеб-соль, за науку. Вон что-о! Кто же тебя надоумил из четырехмиллиметровки-то гнуть?

— Да никто. В проекте и смете так обсчитано, — неожиданно легко выскочило у нее это слово — «обсчита-

но»... «Привыкаю, что ли? — мелькнуло в уме. — Еще чего не хватало!»

— Ну-ка, ну-ка, — торопливо залистал старичок страницы сметы. — Ба! Жив Курилка! Да знаешь ли, милая, с кем связалась? Первейший проходимец! Полштата института на него работает. Все колхозы обобрал, теперь, видать, новую жилу осваивает. Денежки-то вручила?

— Вручила.

— С тысчонку?

— С небольшим...

— На квартире, да? И коньячок выставил? И балычку предложил? И кобеля за стол посадил? Да-а. У него четко отработано. Дочь уроки делает, морщится: «Папа, тише!» Жена из спальни торчит, косяк подпирает. У самого эспандер через плечо. Один кобель и сидит за столом. Разинет пасть, облизнется — только медали позвякивают. Так?

— Похоже, — со вздохом отозвалась Галина Сергеевна.

— Думаете, откуда знаю? Было время, погнул на него спину... Ладно, сделаем трубу из шестимиллиметровки. Сделаем. Подороже, конечно, куда денешься? Дней через десять позвоните, думаю, готова будет.

* * *

Но ей звонить не пришлось. Наоборот, через неделю с завода сообщили, что труба изготовлена, и попросили срочно ее убрать.

Галина Сергеевна уже просила в Сельхозтехнике автомашину с прицепом, но он оказался неисправным.

Пришлось снова идти к предрику. Надо же, такой пустяковины без него не решить! Когда ее в порядке очереди, так как предварительно не созвонилась, впустили в кабинет, он нервно читал газету.

— Интересная газетка... Есть что почитать! Даже фельетончик вот. Не читали?

— Нет. Нам же под вечер приносят. Дома посмотрю.

— Дома? — как-то странно спросил он.

Тренькнул телефон. Предрик не обратил было внимания, но вошла секретарша.

— Прокурор просит.

— Придется дать, раз просит, — с непонятной угро-

зой проговорил он и снял трубку. Некоторое время слушал.

— А вы что, из газет информацию черпаете? Не знаете, что под носом творится? Ждете, пока самого украдут? Хотя не бойтесь, не украдут: на свободе вы жулью полезней. Вот что: срочно подготовьте все материалы о разбазаривании государственных средств в больнице. Завтра в четырнадцать ноль-ноль исполком. Что? Да, завтра! Вам слово. Надо же ее вытаскивать!

Галина Сергеевна начала бледнеть, сняла очки и закусила дужку. Ей не верилось, что слова «жулье», «разбазаривание», «украдут» как-то относятся к ней. Она только смотрела на предрика, не способная ничего вымолвить.

А он в возбуждении привстал, подсунул под себя левую ногу и стал писать, энергично выпирая щеку языком.

Вызвал секретаршу, протянул листок.

— Вот, включите в повестку дня!

— Может, вы мне-то объясните, что происходит? — взорвалась наконец Галина Сергеевна.

— Объясню, объясню-ю, уважаемая Галина Сергеевна. Вот, читайте, тут все сказано, — он подал ей газету.

Действительно, в фельетоне было подробно прослежено, как некий инженер Курилов, используя служебное положение и труд подчиненных, свыше пяти лет взимал с колхозов и других организаций крупные суммы денег за нелегальное проектирование тепловых и канализационных сетей. А печать института придавала всему законную силу.

Галина Сергеевна читала, и нервное напряжение покидало ее. Было приведено много фактов, но о ней — ни слова. Пусть бы даже упомянули, лишь бы прохвоста разоблачить. Она с омерзением вспомнила, как приходилось отказываться от угощения в соседстве с кобелем.

«Но странной выглядит позиция руководителей ряда районов, — писал автор, — якобы не ведавших о том, насколько широко жулики развернули свою «деятельность».

— Как нравится, Галина Сергеевна? — предрик повысил голос. — Как вам это нравится?

— А очень нравится, — весело и беспечно ответила она. — Давно бы ему в тюрьме сидеть пора.

— Кто ж его одного в тюрьму пустит? Вы платили — он и брал.

— Вы велели — я и платила.

— Ага-а, значит, честь — вам, шишки — мне?

— Напротив, готова поменяться.

— Возможно-возможно. Я верю в вашу порядочность. Но кому от этого легче? Пока такие условия...

— А условия менять — дело ваше. Единственное, в чем я вас упрекну.

— Значит, все-таки шишки мне?

Галина Сергеевна не ответила. Ей было неприятно вести торг. Лишь уточнила:

— Но о вас даже не упоминают в газете!

— Тем более, тем более мы должны отреагировать, пока не спросили. — Он пристально посмотрел на нее.

— Кстати, Курилов не скажет, что часть денег он передавал заказчикам?

Галина Сергеевна опешила. Вот тебе на! Очень легко было заплакать. Еще чего! И она ядовито сказала:

— Нет, я просила, да он слишком скуп. А вы бы дали?

— Завтра, завтра язвить будете. И рекомендую подготовиться. Все продумать. Прокурору покажете все документы.

— Сухарики сушить? — спаясничала она.

— Посерьезней, посерьезней, Галина Сергеевна. До сухарей дело не дойдет, а выговор, думаю, вам обеспечен.

— А зачем он мне, не знаете?

— Ну, какой же руководитель без выговора? — в тон ей ответил предрик.

* * *

...Галина Сергеевна включила настольную лампу. Ее молодая коллега, соседка по номеру, приподнялась на локте на кровати и повернулась к Галине Сергеевне.

— Очень уж вас хвалили сегодня на совещании. Не трудно?

— Обычно, — вздохнула Галина Сергеевна.

— Но как тогда столько удается?

— А я переквалифицировалась: теперь вопросы выдвигаю. Выдвигать — не решать. Но тоже заметно. Да?

— Вы не смеетесь надо мной?

— Нет, конечно. Уж над собой если...

— Тогда это... как бы сказать...

— Нечестно? Да, не вполне. Но ведь своей головой всего не пробить.

— А чьей же?

— У кого температура повыше. Гражданская. Вот у нас новый предрик. Чистая душа, но — лапоть! Все примеривают. Разносят скоро.

— Послушайте, — сказала соседка, — может, мне завтра не идти за приказом, а?

Галина Сергеевна лежала, закинув руки за голову. Смутно, тревожно и удовлетворенно думалось обо всем. Уважение, покой, достаток, но душа чего-то томилась, наверно, жаль было тех глупых и чистых лет...

— Не идти — можно, идти — надо. Вспомните, какие перспективы! Какая материальная база! Речь идет о совершенно новом уровне медицинского обслуживания. И создаем его мы! Вот где счастье! — ответила она.

— Но двадцать лет...

— Милая девочка, ведь это же хорошо! — тихо сказала Галина Сергеевна.

ОБИДА

Под вечер в деревне заговорили, что машина-таки пойдет в город. Груняха кое-как процедила молоко, накинула платок с алыми цветами по черному полю и побежала к Иванку. Хоть и близко до Иванка, да время-то дорого: сено повернуть надо бы, сопреет трава, уж и так с неделю лежит, ночами подкошена. Сушить время, а разве днем убежишь, да с граблями-то? Завидят, докажут — не открестишься. А и сынок хорош: ну-ко в эту пору-то да провожай его. Вот остался бы да покосил-поогребал, уж о возке пока думать нечего. Нет, худая надежда — телеграммой вызывают из отпуска. И отдохнуть не дали, и брагу не припили, и внучки-белянки парным молочком не натешились...

Добро бы проводить на машине-то. От места до места, от крыльца до вагона. Самой не трястись. На автобусы надеяться нечего. Со свистом мимо проскакивают. Насадят народу где попадя. Надо не надо — всех везут. Да и не близко до автобуса: семь верст. Одной бы так неча и говорить, а тут с внучками. Ну ведро с медом да

рюкзак пусть отец несет, а девчонок куда? Веди их за руки, верти башкой по сторонам, все показывай да рассказывай — язык истреплешь. От ручья к ручью, от куста к кусту, то под мостик, то под кустик, то одной, то другой. Не-е-ет, Иванко хороший, хоть и Марьи-блудницы, он свезет. Он свезет, он, Иванко, хороший...

Груняха торопится, идет, словно подныривает, далеко занося левую ногу, а потом резко дергая ее назад. «Рупь-пять, рупь-пять», — дразнят ее в деревне за походку, а за глаза зовут Потапкой. Груняха знает об этом и на прозвище не обижается. Да и все меньше дразнителей остается в деревне. Скоро и совсем не останется. И подразнить будет некому. А худо, поди-ко, одной-то. А куда денешься? Михайла бог приберет. К сыну? Это к сыну-то? Это она-то? Это по одной-то половичке ходить? Не поговори и не выругайся? Нет, нет, нет, вот проводит, да и поезжай, милой, с богом! Нет, нет, нет, на своей печи помирать надо...

Груняха к Иванкову дому подлетела вгорячах. И опомнилась. «Господи, царица небесная, прости меня грешную», — наскоро проговорила она и по теплым от солнца ступеням вошла в прохладу сеней. Дверь нашарила сразу, но скобы на обычном месте не было!

Груняха оторопела, но вдруг вспыхнул свет, дверь отворилась, и из-за нее высунул голову Иванко.

— А, бабка Аграфена, проходи. А я думаю, кто у дверей скребется? Здравствуй. Проходи, садись чай пить. Чего «не хочу»? Садись, садись, — говорил он, а жена его уже пододвигала блюдце с наполненной чашкой к краю стола.

— Вот медку бери, сегодня качали.

Груняха отказывалась, но все-таки села. Осмотрелась. Не бывала она в этом доме с сороковых годов, с тех пор, как стала подмечать, что ее Мишуха-бригадир больно охотно дает наряды Марье-вдове. Теперь, глядя на телевизор, на полосатые шторы, на ковры, на полку с книгами, Груняха вспомнила, что Иванко года три как перебрал дом. На фундамент поставил, гнилые венцы выкинул, подвел новые, обшил, выкрасил. В тереме живут...

Удивление Ивана прошло, и все-таки он недоумевал, зачем явилась Потапка.

С детства врезалось Ивану в память, как честила она его мать. И сейчас, глядя в ее лицо, на котором

рыжела на носу толстая бородавка, на ее пребывающий в постоянном движении рот с мокрой нижней губой, он невольно испытывал давнюю детскую неприязнь к этой теперь уже старой женщине.

— Ну, быде чашку, — сказала Потапка.

Груняха вежливо ставила блюдце на губу, левой рукой поднимала кверху свободный край и сливала чай в рот. Около ее бородавки вилась муха.

— Гли-ко, у вас и мух нету,— удивилась она.— А у нас дак дверь не отвори — так в рожу и лезут, как собаки. Девчонок искусали — нет живого места. Добро, скажут, у баушки погостили.— Она чувствовала, что сейчас-то и можно заговорить о машине.

— Ну, да завтра... Ой, да не сюда ли Кочубей заворачивает? — перебила она сама себя.

— И то сюда. Надо выйти, — Иван отвернулся от окна, захватил сигареты и пошел.

— Наливай сама, бабка Груня, — сказала ей жена Ивана.

— Ой, Аннушка-й, будет. Слышь-ко, — наклонилась к Анне, — твой-от часто в конторе бывает, не слышно, покосить-то разрешат, аль опять до белых мух? В других-то бригадах, слыхать, давно тяпают.

— Не знаю, бабка Груня, и врать не буду.

— Нашему-то Кочубею давно бы можно народу сказать: косите стишка. Много ли нас осталось-то? Себе-то, поди-ко, не опоздал. А что? Все в руках дак: и лошадь, и машина, и на тебе что.

— А не тяжело, бабка, корову-то держать?

— Как, милая, не тяжело? Одне корма все рученьки выломят. Ну, сейчас, ладно, лето, а зимой: воды наноси, согрей, пойло изладь: и хлебца туды, и свеколки, и морковки, а то и пить не будет. Нохристая.

— Продавать-то не думали?

— А я-то чего буду делать? — удивилась Груняха, округляя глаза. — Михайло лежмя лежит, да и мне? Не-е-т, я и его-то матерю, чтобы не забылся да не умер. Как же без коровы? Иной раз и сметанки захочется, и творожку. Да и повадней, сходить есть к кому, поговорить аль полаяться. Нет, милая, не думали.

— Дедушко-то Михайло все лежит? — посочувствовала Анна.

— А что, Аннушка-й, сделаешь? Лежит. Сейчас-то вывожу на крыльцо, на повить, — а уж муху не отогнать

самому. Зиму-то всю в избе. Может, и потянет, буде с водой не уйдет.

Груняха уже беспокоилась, что разговор и затянулся, и не про то, и чутко вострила уши — все равно только мужицкое «бу-бу-бу» под окном. Не разобрать. И терпеть дольше не терпится.

— Рано ли, Аннушка-й, в город-от твой собирается?

— В горо-од? И не поминал. А как проснется, так и свернется! — вдруг закричала она. — И неси лешой! И не приноси! И там не убрано, и тут не прибрано, навоз не выкидан, баня без крыши. Люди сено возам возят — у него не тяпнуто. Одна да одна. Как в котле кипишь. Хоть разорвись.

Груняха на это вытаращила глаза, еще сильнее выкатила сырую губу. Ей было и неловко, и нельзя уходить ни с чем.

Пришел Иван.

— Ну, засиделась я у вас. Спасибо за чай, за сахар. Сказывают, Иванушко-й, утресь в город тебя наряжают?

— А меня, как девку под венец, нарядят да разрядят. Иной раз весь день примериваются. Из бортовых один я во всем отделении на ходу. Не работа, а нервотрепка. Выпить некогда.

Иван уже смекнул, зачем пожаловала Потапка, и изображал раздражение, чтобы и жену утешить (он слышал ее крики), и Потапку убедить, что, мол, он-то с удовольствием бы, да вишь, какие начальнички. Он был возбужден: Кочубей давал две ночи, чтобы вывезти сено себе и ему. «Не твое дело, что будет. Скажу, что у Потапки да у Симки-немой незаконное отобрали да в сарай свалили. Туда сегодня вожено — не разберут. А ты говори: на техуход, мол, становлюсь, не сегодня-завтра уборка, директор из отпуска бац! — а ты в полной боевой. Усек? Хочешь жить — умей вращаться круг начальства. Ха-ха-ха!»

— Нашему Кочубею все неймется, хоть за каждую кампанию голову снимай: что за посевную, что за уборочную, — добавил он.

Груняха поняла, что больше разговора о проводинах не будет, что утром внучек ей придется вести самой до автобуса и трястись в нем в город, если посадят. Ее холодом окатила мысль, что дом придется оставить на Михайла, на пустое место. «Скотину, ладно, обря-

дят, а ну гроза? Не вчера ли пробки выщелкнуло? Такая сушь. Дранка — порох, не приведись — пойдет пазгать. Ни пруда, ни телефона. В одночасье сгорит. Добро, скотина на выгоне, а как ночью? Все сгорит, и сам сгорит. Господи, хоть бы уж поскорее! Сколь годов ни тпру, ни ну, ни в ту сторону, ни в эту. Жить не живет и мереть не мрет. И жизнь, и смерть — обеих омманывает...»

— Ну, погоди, я те омману! Я те, блудне, попомню. «Сходи, мать, к Иванку-то, он свезет, он, Иванко, хороший»,— передразнила она.— Хорош твой Иванко! Весь в мать — распутницу.

Потапка нырнула под жердь огорода (она бежала как в забытьи, прямиком).

— Взять бы тогда вот кол-от, да обоих к лешему! Или вымазать дегтем, да в перьях, да кнутом-то по блуду! «Хороший Иванко!» Ишь, кобель, одной ногой во гробе, а как присох! Худо, видно, на разу-то отвадила.

Нет, хорошо отваживала мужа Груняха. И прохожему, и проезжему — всем на уши навесила, какой у нее кобель муженек. Когда ей сказали, что Михайло с Марьей устроились головка к головке, «как два цветочка на некоси», она боком-боком да и завернула на ту поляну, где прибирали последнее сено. Нет, ни одна копна не ворохнута! Заглянула за кусты — вся поляна измята-истоптана! Ее обдало жаром, затуманило мозг, и хоть в последний момент, как впасть в ярость, в сознании мелькнуло, что тут лежали овцы, она уже ничего не соображала. Все самые тяжкие ругательства кидала она в любовников, ее голос на вечерней заре хорошо доносился в деревню. Всех святых собрала, всю родню до седьмого колена. И с этим молебном двинулась в деревню. Но, подходя, меняла тон на жалостливый.

— Среди бела-то дня, бесстыдники, при живой жене да от детушек, нет ни сердца у вас, ни совести.

Люди слушали, хохотали, пряча улыбки и смех за дверями и окнами.

— Всю поляну изъездили, чище коней выбили, никакая трава тут не вырастет, а и вырастет, так поганая, — выла Груняха.

Ребятишки, в том числе оба Груняхины и Марьин Иванко, бегали потом искать ту поляну, да так и не нашли.

Домой в тот раз Груняха пошла через двор, нервно

играя губами. Михайло как раз поил овец из колоды.

— Что, кобелина, прискакал? — заскрипела она.

— Одурела, с возу свалилась? Смотри, не то...

— А я тебе то: вот как опояшу разок-другой по калгану-то — как щи прольешь!

— Ну дура, ну дура...

— Умных ищешь? С постного на молосное потянуло?

Овцы давно убежали со двора, а Михайло все хлопал глазами.

— Как на люди-то пойдешь? Думаешь, вывеличивать будут: «Михай-ало Михайлович, Миха-айло Михайлович», — передразнила она. — Кобелина поганая — подумают.

— Ну, пусть думают, пусть думают, — сдавался Михайло.

— Ишь, благородный, рожа моя ему омерзела! На личико позарился! Сама знаю, сколь баска. Только не потаскуха. Не-е-т!

— Да ведь с личика-то, Груня, не воду пить, сама знаешь, морда-то даром и овечья, лишь бы душа человечья.

— Присуши язык, «морда-личико»! Я те дам «мордуличико»!

Нет, хорошо отваживала мужа Груняха.

...Перед отъездом сына Михайло всю ночь не спал. Взбалмошная старуха опять задала ему трепку. Двадцать пять годов с того дня кануло, а лает, как гончая Альма по теплому следу. Все понимал теперь Михайло: и людей, и жизнь, — а не поздно? Понимал, что и старуха поедом ест не со зла, а горе бы извести, облегчить душу. Поезжай-ко за сто верст киселя хлебать: в духоте, в пыли, посади в вагон да на той же ноге обратно!

И за Марью-покойницу на арапа берет: знает — не было. А ведь и не было! Может, и надо так. Не дал бы тогда острастки себе — что-то вышло б — неведомо...

Тянулись они друг к другу, понимали это, стыдились — ну-ко бы достыдились до дела? Михайлу и сейчас, от одних воспоминаний, становилось сладко и зябко.

Марья умерла внезапно, у сеялки, нагибаясь за мешком. Ткнулась головой в мешок, завалилась набок и все. Михайло еще раньше стал вянуть. От бригадирства

отошел как-то незаметно, дела повел молодой и наглый сержант Аркаха, вскоре прозванный Кочубеем...

...Наступило утро. Груняха обрядила скотину, выгнала со двора, последний раз накормила, напоила гостей, усадила вдоль половиц.

Помолчали.

— Ну, с богом! — и девчонки зашлепали вслед за отцом, конфузливо улыбаясь дедушке, а Груняха сказала Михайле:

— Ты, отец, лежи, никуда не ползай. Молоко принесут, пироги в горке, зеркало я завешала, самовар убрала, пробки вывернуты. Ну да не век я...

— Зашла бы, мать, к Кочубею-то, может, отрядит Иванка, — пожалел он.

— Опять за свое, «морда-личико»? — прошипела она. — Сказано, не пойду боле!

Ушли. Михайло попеременно спустил ноги, с кровати встал, придерживая кальсоны, по стенке дошаркал до бокового окна.

«Сине, светло, зелено! А и рыжинку видать. И то: август...»

Внучки бодро шагают по тропке, краснея колготками.

Груняха стоит под яблоней и украдкой крестит дом. Сейчас уйдет и она.

И оттого, что он остался один и обруган, и от вида уходящих по тропинке внучек, и просто от немощи, по сухим колким от щетины щекам Михайлы потекли слезы.

Он горестно сжал зубы, крепко зажмурил глаза, вытер мокрые щеки.

«Эх, немочь!»

— Знать бы, что эдак лаяться будет, еще не так бы гулять надо-то! — простодушно, без угрозы проговорил он, вцепившись в косяк.

ОПЯТЬ ПОВЕЗЛО

Енашка одним духом примчался к Селиванову дому. Не видел, что тот на веранде — солнце горело в стеклах, — но почувствовал: тут дядя Селя. Распахнул дверь. Селиван обрезал воск с рамок. Хоть и сильно на глаза ослаб Селиван, зато слух и нюх были что

надо! А и было что понюхать! Пахло тесом, медом, воском, огуречным и укропным духом. И все это смешивалось с кисловатым запахом выделанных кож.

— Что тя, черти гнали? Здорово! — сказал Селиван, оскребая нож о край кастрюли.

— Дядя Селя, опять повезло! — затараторил Енашка.

— А что, еще когда везло, что ли? — с усмешкой спросил Селиван. «Глупой! Чего ему повезло?»

— Да как же! Когда норок-то брали! А тут выдра! У омутишка в заломе. Сам видал!

— А не врешь? — засомневался Селиван. «Выдра! Чуть ли не в огороде, считай!»

— Не! Где Гопник? Бери ружье! Побежали, уйдет!— торопил Енашка.

Ему не терпелось вернуть хорошее расположение дяди Сели, исправить прошлогоднюю промашку. Тогда они ходили на норок. С ними была Курша, черная старая сука, спец по норному зверю, и Гопник. У ручья Курша заволновалась. Енашка и опомниться не успел, как грянул выстрел и норку вместе с водой выкинуло на берег, прямо к Гопнику. Мокрая, измятая в собачьей пасти, она показалась Енашке жалкой и некрасивой. Но Селиван обрадовался, оживился, даже закурил «на кровях», и снова давай шастать, где больше лому, завалов да подмоин.

Курша скоро отшила Гопника, и он подался на мышей. Енашка звал-звал его, но тот обидно на него взглядывал, взлаивал и совал морду в мышиный ход. Кобель он был рослый и сильный, хвост закручен на спине, как пружина.

— Оставь ты этого Гопника! — озлился Селиван. — Возьми вот спицу, шуруй в норе.

Енашка взял спицу — выпрямленный железный зуб от конных граблей — и стал помогать Курше. Она рыла исправно, чувствовала зверька. Ходов десяток разрыли впустую. И вдруг Селиван увидел норочью мордочку.

Норка высунулась на секунду, но, видимо, испугалась открытого места и убралась. До воды было не меньше метра по мокрому песку. Селиван подскочил к норе и изготовился.

Как он успел почувствовать нужный момент — загадка, но уже через секунду держал зверька за шкирку на вытянутой руке.

— Енашка, надевай рукавицу, держи!

Енашка засуетился, выдернул у него из кармана ватную рукавицу и потянулся к норке. Она извивалась, билась. Енашка почувствовал ее живое тело, которое надо схватить, стиснуть, а он еще этого не умел.

— Держи! — рявкнул Селиван, но Енашка от испуга разжал пальцы. Норка мгновенно исчезла в норе. Из распоротой подушечки большого пальца Селивана текла кровь. Но он только Гопника напинал, а Енашке ничего не сказал. А лучше бы уж сказал, чем фыркать да молчать до самого дома.

Это воспоминание мелькнуло в сознании Енашки в словах и картинах, стеснило грудь тяжестью старой вины.

Но радость сегодняшней близкой удачи возбуждала его, делала смелым. Ведь это же выдра, не чета каким-то там норкам!

— Сто рублей, — вдруг ошарашил его Селиван, — есть у матери?

— А зачем? Не зна-а-ю...

— Не зна-а-ю...— передразнил Селиван.— Кто штраф платить будет?

— Какой штраф, дядя Селя! — изумился Енашка. — Там же никого нет! Ну-у...

Пошли, наконец.

Гопник впереди бежит, за ним Енашка припрыгивает, вполоборота пританцовывает, а Селиван сзади вышагивает, прижимая ложу ружья правой рукой.

Енашка на ходу рассказывает.

— Ужу сижу, не клюет: вода чистая. Вдруг справа, на мелкотке, за ломом — такой плеск, как корягой ворочают. Думал, утки взлетают. Какие тут утки! Вдруг тихо. Я тихо сижу, из-за травы выглядываю. А она на меня из лому уставилась. Во как уставилась! — он вытаращил на Селивана глаза. — Морда бусая, усищи торчат. Я как сидел на корточках, так и подался шагов на пять назад и подрал. Ту-ут. Не ушла-а. Не узнала она меня, — уверенно сказал Енашка.

Омутишко взяли в клещи. Селиван занял Енашкино место, ружье наготове в руках. Енашка спрыгнул на кучу лома, позвал Гопника: ищи! Тот закрутился, зафыркал, задрожал ноздрями и нагло попер в глубину реки. Но под берегом ему было всего по грудь. Берег

с гнилыми пеньками и молодыми ольшинами навис над водой.

Слышалось, как под ним в обширной подмоине хлюпала взбаламученная Гопником вода. Он теперь искренне волновался. Взвизгивал, скулил, отфыркивался, смело совал голову в воду до самых ушей. Поворачивался к хозяину, коротко стонал, выскакивал на берег, совался вверх-вниз от омутка, вскакивал на завал и опять лез под коренья.

Енашка на месте повторял каждое движение Гопника, стонал и скулил вместе с ним.

Селиван скоро убедился, что выдра тут. Значит, быть ей на раздиральном крюку. Не сейчас, так утром, не утром, так днем. Даже лучше, если без Енашки. Пусть треплет, что видели. И потому, когда Гопник нахлебался воды, устал, вымок, засомневался, стал делать круговые пробежки по лугу, Селиван не одернул его. Мутная вода уже не дробилась на струи, а тускло лоснилась всей массой.

Ольшняк затих, потемнел, деревенские тополя стряхнули последний отсвет солнца — смеркалось.

— Ушла, видно, — зевнул Селиван и закинул ружье за спину. Не торопясь закурил и бросил несколько спичек в завал. Сухая осока занялась быстро.

— Пусть горит, не мешает звериному ходу.

Гопник понял сигнал к отступлению, вышел из воды и начал старательно отряхиваться. Брызги летели Енашке в лицо.

Он утомился, хотелось есть, но хотелось и поймать выдру. Отступление Селивана огорчило его.

Пошли в деревню, не выискивая дорогу посуше, а прямо по солотине *.

Гопник весело бежал впереди. Незаметно было, что мок больше часу. С каким удовольствием напинал бы сейчас Енашка этого красавца! Ишь, до чего бравый. А худо, наверно, кобелю быть красивым, но глупым.

Сам-то Енашка не писаный красавец, зато... Но он не стал додумывать на эту тему: выдру-то ведь не взяли.

В своем огороде Селиван ускорил шаги, подозвал Гопника и потрепал по загривку.

— Ничего-ничего, парень, недолго уж до лосиного гону, тут ты не промах!

* Вязкое, жидкое, без трясины, болото.

Он решил, что как только Енашка уберется, он Гопника привяжет на цепь у выдриной норы, чтоб знала стерва, что стерегут. Лишь бы огонь не погас, дотянул до нужного места.

Селиван обернулся к Енашке и сказал весело:

— Что скис, охотник? Радоваться надо: сами живы — раз, душу не сгубили — два, штраф не платили — три. Выходит, опять повезло! Жаль, выдра ушла, — и нервно захохотал. — Ну, спокойной ночи, беги!

«А все же хороший дядя Селя: веселый, не жадный, может выстрелить дать...» — думал по дороге домой Енашка.

КАК ПЕРЕЙТИ ПОЛЕ

(Рассказ А. Е. Люсковой, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР)

Присядем и помолчим. И комнату взглядом окинем. Под часами — крупная фотография. На шейбухтовском угоре кружком сидят деревенские школьники, слушают Александру Евгеньевну, один даже рот приоткрыл.

А она — со Звездой Героя, платочек белый за ушки, густые травы льнут к ногам, солнце за дымкой не жжет — греет.

Родная земля! Всем ты давала силу, кто всерьез прикасался к тебе!

Александра Евгеньевна с подругами установила восемнадцать всесоюзных и мировых рекордов по воспроизводству и откорму свиней, получила всенародное признание и мировую известность.

На коленях, на диване, на стульях — фотографии, письма, документы и книги. В них — дни и годы ее круто «заваренной» жизни. Вот она в библиотеке Молочного института, вот на кафедре Тимирязевской академии, вот на коллегии Министерства сельского хозяйства страны. Четыре созыва подряд — с 1946 по 1962 год — она избиралась депутатом Верховного Совета СССР.

Ей писали из Китая, Кореи, Чехословакии, Болгарии, с берегов Атлантики.

Она объехала всю европейскую часть страны, делясь опытом.

— А у меня тоже есть две матки люсковны, — сказала ей как-то молодая белорусская коллега.

«Ну, люсковны так люсковны, — подумала, — зови, как зовется, лишь бы дело шло...»

КАК ОЗИМЬ В ПОЛЕ...

1. Отец

Отец мой, Евгений Федорович, мужик был разный. Лапти смолоду плел отменные, сапогов до смерти не шивал, в небо выше березы не лазивал, глубже могилы ям не капывал. Топором — не плотник, плугом — не пахотник, иглой — не портняжка, не шорник, ружьем — не забавник, — а вот поди ты: дома, да все чужие, ставил, землю — чужую — пахал, упряжь — чужую — ладил, зверье — наше — бил. Покряхтывал да похохатывал: «Кому бы на час, а мы, гляди, днем свернем».

Деревня наша Коцыно круг пригорка как поясок круг пупка: десять домов вперехлест глазами. Кой в задворки другому глядит, кой на соседа глазком покашивает, а все главным-то оком на праведенное.

А и вставало же оно! Из-за Северных Увалов невидимых, из-за синих глухих лесов, а мы его сперва на западе видели: цеплялось оно за крест золотой храма Казанской божьей матери, что на Святой горе, и по куполам, шпилям, по мохнатому сизому боку горы золотой пыльцой стекало в долину.

Как сейчас себя вижу: в гороховом поле сижу, сама как горошина, платье в горошек, мухи, пчелы, пауты звенят, воздух звенит, а я знай плошки в карманы ощипываю, не замечаю, что и сама вся звеню... Господи, за что мне такая долгая жизнь?

При церкви школа была двухклассная церковноприходская. Учила там Евстолия Ивановна Смарагдова. Вот один раз и поехал отец проводить ее да и запропал. Запропал и запропал. Мать с ума сходит, нам тоже невесело. На другой день вечером круг стола сидим, картошку едим все восьмеро, в каганце лучина горит, мать скотину поит, вдруг полозья проскрипнули.

Входит отец: «Здорово-те! Вот те, мать, от нового грамотея!» И подает ей валек, новый, ловкий, дубовый, а по спинке-то не басы, буквы выписаны: «МАТИ». Это он нам сам прочитал.

А потом старший брат Николай вырубил эти буквы у крыльца на третьем бревне.

А еще после это бревно в землю ушло...

2. Мать

Маму мою, не в пример отцу, звали попроще, по-настоящему, совсем по-русски: Марья Ивановна. Восьмеро нас у ней. Было. Я — четвертая, ровесница века, с девятисотого года.

Мама невысокая, подбористая, сухая и крепкая. Красивей ее я не знала. И твоей-то матери, поди-ко, красивее нет? Бывало, тащит ношу — самой не видать, — остановится да и давай нас отделывать: скотину распустили, дьяволята, квохта опять без цыплят, колоды без воды трескаются — ничего приятнее этой ругани нету, век бы слушала! — да так под ношей-то и стоит, и стоит.

За мужа, за отца-то моего, она вышла в пору да вовремя, восемнадцати годов, а приданое в ту пору было известное: шуба — не говори — барашковая (норки ведь и тогда на сторону шли), с поречьем по кантам, по оторочке, значит. Ну, рушники там, подушки да пальто летнее. Что про него сказать? Ну суконное, ну подкладка от Буторова, ну пальто, значит.

Невелика, теперь вижу, мамонька, а, бывало, гром гремит по злым праздникам: все за столом, а задорнице не то что места нет — всем уладить торопится, полуприсядет да: «Ну, со светлым всех праздничком!» — и три капельки в квас. Обегала закусывать: «Пусть пожгет!» — и опять гремит к печке в стукарях. Это ботинки такие, башмаки. Тоже приданое. Из кожи из толстой, до полуикры. Подошва — не на одну жизнь. По три килограмма башмак. Годов пятьдесят носила. Ну, берегла, конечно. В церковь ли, из церкви — на руке стукари, на другой — платье. Тоже чтобы по росе не охлюпать.

А отец да свекор — те все в лаптях. Ну-ко, ноге-то сколь хорошо!

А уж жали, косили — все босиком, босиком. От ледохода до ледостава — все босиком. И как не болели?

3. Земля

На земле родились — земля и примет. Только торопиться не надо. Возделать свое. Тогда и она тебе будет пухом.

...Ну, что это я? А вот что: сама с шести лет в труде. Сидишь по зимам-то за пряслицей, нитку сучишь,

а качалка на ноге: после меня еще четверо, все моей правой ногой выкачаны. Этой вот. Сама диву даюсь. Семья — десятеро, а земли — на троих едоков. Попробуй-ко пропитайся!

И рады бы лишнюю коровенку продержать, теленка продать, молоко-то раньше не пили, мало ли надо: сапоги, рубашку, пиджачишко какой — в чем в школу-то бегать!

Сама-то я босиком к Вознесенью свигала. А много ли по заморозкам натропишь? Так и кончилось ученье мое. А все прочитаю и все напишу. Ко всему трудности научат. А если «ой» да «неохота»... Ладно.

Полдеревни только мало-мальски жили, а другая половина — бедней бедного. После перемеру — при Советской уж власти — жить только начали. Лен стали сеять. А семян-то трудно где взять. Все же по деревням дома двужитные стали ставить. Опушились, покрылися.

Четверо братьев — Николай, Александр, Михаил да Василий — к Ривлину ушли, на лесопилку: завод такой на Сухоне был, в устье Шейбухты. Когда дома — братья, а ушли — вроде и нет их. Те же батраки, только еще хуже: оторвыши.

Без земли — ни туды, ни сюды. Пока мир стоит — только от земли хорошую жизнь нажить можно. Лет десяти была — у Порошина, помню, землю покупали. Помещик такой был в Святогорье. Три гектара купили. Кочкарь да кустарник, ивняк, что железо плетеное.

Поставил отец сарай у ручья. В нем и жили, пока корчевали да чистили. И корье за попутье драли. Овод не овод — дерешь. Такую деляну разделали — матерь небесная! Я и скажи тяте: «Гладко-то сколь!»

— Погоди, — говорит, — косить пойдешь — всю гладость найдешь. Вся на косе окажется.

И верно: косили с тяпка. Тятя впереди, а мы вкривьвкось — каждый свою лахтеечку. Потом соберемся у каши, знай пыхтим. Век не вставать бы! Кто во что: как травы накосим, как копны скатаем, как в сарай сметаем, кому зимой сено возить, кому повозничать просить, а мне все выпадало самовар наставлять да работничков поджидать.

А и самовара у самих не было. Видывать-то видывали, а чай пили из чугуна. То с соченьями из крахмала, то с вяленицей из репы ли брюквы. Да кваску вмес-

то чаю-то подольем. На ораву — все вкусное. А как-то зимой привез тятя голову сахару. Окружили: как да с чем его едят? Не скоро расчухали. Вот смеху-то!

...Так и сидим, кашу доедим, чаем запьем со смородиновым листом. Скорее бы вечер!

Тятя вскочит — и к солнышку: «Эй-эй! Праводенныш-ко! Уснуло, что ли? Не бывало в чужих-то людях? Ну-ну, не сердись, на покой катись! У нас и дела-то на уповод. Семеро помогут — так один смахну!»

Вскакивали и мы. Откуда и силы брались!

4. В колхоз

В колхоз мы из первых записались. Двух лошадей, трех коров, теленка, овец — все сдали. Не готовились, как некоторые, не продавали, не резали, все сдали с чистой душой. Потом овцы — глупая скотинка — обратно пришли. Колхоз назывался «Буденновец». Название геройское, а дано — шутили — по жеребцу. Конеферма в колхозе была. А в производители выписали жеребца буденновской породы. Каштановый, в белых чулках до колен, в гетрах, по-нонешнему, шея с аршин, голова как из сухой сосны тесана. Игровый, плясун. Копыта — как чашечки из серого мрамора. Но баб да девок до лошадей не допускали. В полеводство их! Триста дел в году — и все разные. Кажин день голова забита, а чем? Я и до того досыта набатрачилась. Бывало, весь сенокос отведешь на Востроксе, за двадцать километров, за ситцевый платок да еще и в ноги поклонишься. Не одна я, все батрачки так.

Мы и в колхозе истово работали, споро, а чего-то еще хотелось. Тут и подвернулся случай. Иду как-то с полосы, а навстречу Манефа Корюкина.

— Пойдем-ко, Шура, ко мне.

Я вначале не поняла. Подругами никогда не были. Та на тринадцать годов старше.

— Да не домой зову, не чай пить. На ферму зову, свинаркой.

«Свинаркой?» Больно не в чести было это дело. Ладно еще в своем хозяйстве одного-другого поросенка выкормить. А на ферме? Грязь, вонь, визг. А от народу — как? Хуже свинарки и слова нет!

— Мне ведь не лишь бы кого. Мне ведь головастую помощницу надо. Мне ведь жить-то охота не как-ни-

будь. Мне ведь чего-то да хорошее сделать хочется!

— Ну, думай! — раз видит, что я молчу. И пошла. И я пошла.

«Свинаркой?» Сама-то Манефа раньше учительницей была. В начальной школе для взрослых. Счету и письму учила. Манефой Владимировной, по отчеству звали. Нате: в свинарки сунулась. Да и ферму на свой двор пустила. Заработок сманил? Верно, и это дело не последнее, раз отец больной. А только ли в этом дело? «Хорошее ей сделать хочется!» А кому не хочется? Мне не хочется? Дураку не хочется!

Как я жила? Как озимь в поле: и вымокну, и вымерзну, и к солнышку потянусь. Колоситься пора бы.

И вечером я пошла.

Вот иду, вся тревожливая, и боюсь, и решилась, и вижу, Манефа на меня из ворот глядит, и я на себя ее глазами гляжу: вот кубышка идет, маленькая да точеная, крепкая да проворная, «не уступлю!» — думает. И опять на Манефу гляжу: до чего уж тончавая — вица ивовая, косу пепельно-русую теребит. «Не бойся, не подведу!»

— На правлении-то уж, — говорит, — Шура-й, решили.

Вот как.

ДЕЛО ЧЕСТИ

1. Пожар

И пошла у нас новая жизнь. И до того завертелась, что голова кругом. С тех пор, не совру, ни один председатель, ни один бригадир наряду не давывали. Зато уж мы-то их наряжали: то загон загороди, то колоды долби, то двор утепляй, то вентиляцию подавай. Мы с самого начала по науке пошли. Книжки читаем да спорим, где что услышим — обсудим. Ни одно дело без совета не делали. А в полуслове не бывало. И все вместе: одна пасет, другая клетки скребет, одна косит да возит, другая корм разносит.

А опоросы начнутся — не дай и не приведи! Зато пасти — рай! Пастбище-то по ручьевине, вольготно, трава жирная, сахарная, ванны грязевые — под боком. Курорт! Я уж в годах была, а как новенькая радовалась

каждому дню. А в тот день что-то давило. Жарко, духовито было, потно. Поросята из грязи не вылезали, хрюкали вяло, со стоном. В седьмом часу погнала домой. Ветерок потянул с северо-востока, а из-за Казанской-то супротив него по шажку туча поднималась. Потемнело. Тревожно сделалось. Скотина и люди с какой-то оглядкой, но споро стремились к жилью. Гром стукал редко и тяжело.

Смеркалось. Гроза не приближалась. Деревня на покой забралась. И мы ставень в горнице закрыли. Сплю-сплю, а сама чувствую, как поросенка из соски пою, а он верещит, а молоко мне на руку каплет. Я как отдерну руку-то да локтем об стену! Брызги из глаз! Проморгалась — батюшки: с потолка-то ручьем на одеяло, на руку.

А тут как верескнет да верескнет! — в горнице светло. В ставне-то щели, и сквозь них фиолетовым, желтым — глаза режет!

Мужа в бок ткнула — вскочил, кричу шепотом: «Робят не напугай!» Постель свернула, мешок тюриком на голову — и на ферму. Дождь полощет, ноги скользят, грянет — чуть не вприсядку бегу. Слава богу, успела. Под крышей стою, на косяк отдышиваюсь. Брызги с застреха до пояса бьют! Вдруг около столба телефонного как в ладошки дважды прохлопнуло, огненные ленты кинулись по проводам, и в тот миг так треснуло, будто парусину рванули разом на много верст. Забили в лемех. Пожар? Где? Вижу, люди ко мне бегут.

— Не видишь? Горим!

— Открывай ворота!

— Лестница, лестница где?

— Молока давай, молока!

Молоком молонью-ту заливали.

Кинулась на крыльцо: ворота-ти изнутри засовом заложены. Манефа Владимировна навстречу: тащит отца.

Распахнула ворота — народ к клеткам мимо меня. Вижу, и мой тут. Робят бросил. Туча раскололась: часть на Сухону, часть в болото, на Вышино; дождь одряб, ветер — на диво — стих.

В хлевах сумрак, шум, ругань, свиньи визжат, вертятся, фонарь опрокинули; мы с Манефой сосунков таскаем, маток выводим. Дом как свечечка тает, будто того и ждал.

Черного дыму почти не было: солома — та сразу просохла, порохом пропыхала в пять минут, огонь спал,

но стал жарче, весело тек по бревнам вниз до земли. Добро погрел старик косточки, как и не стаивал на земле!

Люди пятились, отступали, молчали. Подлетели дэпэдэшники с пожарной машиной. Лихо развернулись — и остались на дрожках. Лошадь начала стричь траву, косясь на огонь.

А мы с Манефой — делать нечего — стали собирать стадо и погнали к ручью.

Туман стоял от земли до неба. Поредел в одиннадцатом часу. Пришел председатель. Сказал, что правление решило поставить новую избу, выдать ссуду на обзаведенье; ведь в одном мокром платье осталась Манефа Владимировна. Еще подумал и добавил, что в райкоме поддержали эти решения.

А стадо разместили в семи частных хлевах. Вот и загоняешь по вечерам, кого куда, как угорелая. Кто поможет, а кто хихикнет: «Мало еще им, все не угомонятся». И слышишь, бывало, сзади смешки, а все вперед идешь.

...Через время и меня пожар посетил. И дома никого не было, и Илья Пророк не гремел, а тоже хорошо выгорело, чисто.

2. Своим ключиком

Ни о чем с ней не сговаривались, да и слов зря не тратили. Пусть балаболят, кому досуг. Пуще прежнего в работу впились. У нас уж и свои секреты завелись. Приемы труда, методика по-научному. Только мы свою методику не под замком держали, а любому и каждому готовы были рассказать. Да не больно-то поначалу спрашивали.

Только на районных семинарах да через газету отчитывались. А и это немало.

Дело-то чаще не в деле, а в подходе к нему. Все примечай, запоминай да пробуй. Начинали с простенького. И глупому ясно, что матки должны быть упитанные. А вот как кормов напастись, как их приготовить, чтобы аппетит возбудить? Самых-то солощих, прожорливых — тех на племя. Да чтобы по росту, по весу, по фигуре соответствовали. Да чтобы от маток от плодовитых были.

Правда, американский фермер Гарст позже многим

нашим говаривал, что он не обращает внимания на родословную. Были бы рост и вес.

Ну, во-первых, это он про крупный рогатый скот, а во-вторых, «от худого семени не жди хорошего племени». Не зря сказано.

Какая у нас задача была? Чтобы больше поросят в каждом помете рождалось, чтобы росли не по дням, а по часам.

Вот какая короткая методика получилась. На деле-то — годы и годы. Десятилетия. Да и сейчас еще думаю, что можно бы сделать быстрее да лучше? Что упущено? Недоделано?

Чтобы люди доверили, надо десять раз доказать. Статистику, то есть множество фактов, накопить. Сроки, рационы, добавки, порядок кормления, сохранность молодняка, привесы — все учесть. Сотни таблиц вычертить. Ну, тут уж нам зоотехники да ученые помогали. Что нам посоветуют, что у нас возьмут, — вместе науку-то двигали. А уж практику ... все вот этими руками.

Вот какая она бывала, практика-то. Через год примерно после пожара опоросы как пошли да пошли! За одни сутки шестеро маток опорожнились. Одна за другой! Батюшки-светы! Девяносто шесть голов! Как спасти, как сохранить! Хватит ли молока у маток?

В общем-то мы уже готовы были к такому. Не одинова проверили, что надо каждого приучить к своему соску. Так матка лучше молоко отдает. Тех, которые послабее, к передним соскам. Они более молочные. А как не перепутать? Вот и метишь, кого угольком, кого карандашиком химическим, до пяти черточек нарафим, да и у маткн все бока исписаны. Мы уж знали, что кормить их надо больше двадцати раз в сутки. Только поворачивайся! Да то хорошо, что кормление у свиней быстрое. Матка будто выстреливает молоко в рот своим детенышам. Секунды какие-то, ну, минута. Успей каждого подсадить, голодом не оставить. А у сотни-то голов эти секунды в непрерывные часы складываются. Да еще изюминка: у двух маток было по восемнадцати поросят, а сосков-то по четырнадцать. Два билетика на одно место! Вот тут и не обидь, не растревожь, аппетит не испорти! Господи! Ни за одним своим дитем так не ухаживали.

А когда мы получили маток из Череповецкого госплемрассадника от Пластинина, у них вообще было по

восемь сосков. Это уж сами до четырнадцати довели, да еще по паре наметилось. Вот что такое отбор, подбор да направленное воспитание!

Так и работаем, времени счет потеряли, сами себя забыли. Кто ни придет — отмахиваемся: не до вас!

Наконец, разогнулась Манефа Владимировна: «Вроде, Шура-й, мы сегодня не завтракали?» Вот выдержка! Трое суток маковой росинки во рту не было, а она еще шутит! Вот какое возбуждение было, вот какой азарт! А все оттого, что сознавали: ладно делаем. Гордились друг другом.

И все-таки тяжело. Манефа Владимировна не раз говорила и писала: «Если бы я в то время (вскоре после пожара в 1932 году) не побывала в Москве на съезде передовиков свиноводства, я не выдержала бы трудностей и насмешек и бросила бы свою работу».

Ну, и про меня говаривала, дело прошлое, что уж скрывать: «Ничто у нее не выпадало из рук, за что ни возьмется».

Вот какая у меня подруга была верная! На путь наставила да добрую треть проводила. Так и стоит перед глазами. «Не бойся, не подведу!»

3. Признание

Верно говорят: нет пророка в своем отечестве. Как мы ни изощрялись, что ни делали: и работаем сколько надо, и доход колхозу даем, а все будто чужие. Одно слово — свинарки. Только те, кто не за одну деревню думали, заприметили нас. А мы знай руку набиваем, методику отрабатываем. Тренаж себе такой приспособили: можем ли от одной матки за год тонну продукции в живом весе получить. А придумал его украинский свиновод Рой.

К тому времени и у нас условия позволяли: построил колхоз свинарник новый, типовой, на кирпичных столбах; тепло, светло, прифермский участок выделили четырнадцать гектаров. Великое дело — свои корма!

На 1935 год обязательство приняли: тонну-опорос за год! Тут уж ухо востро держи. Тут уж каждого сохрани, не дай бог чихнет, пылинке не дай упасть.

А как же? Корову так вон как обложили! Три тонны да больше молока подай не греши! А овцу? Шкура — на обувь, одежду, мясо — на шашлык, кости — на сту-

день, требуха — на рубец, рога да копыта — на гребни. Почему бы и к свиньям не так? Интенсивным должно быть все животноводство!

Первое сосание давали через час-два после опороса. Как только инстинкт сработает, желудочек запросит. Тут и начиналось: первую пятидневку по двадцать два — двадцать четыре раза кормили материнским молоком. С пятого по десятый дни начинали по два-три раза коровьим подкармливать, по пятьдесят граммов за дачку. Потом — кашей овсяной. Помаленьку приучали к овсу поджаренному, давали ячмень, добавляли красную глину, толченый уголь. Грубые корма вводили в рацион только с сорокового дня.

Долго ли, коротко ли — год прошел. Взвесили, подсчитали — есть тонна-опорос! Не бывало еще такого в стране!

Ну, уж тут стало полегче. Не рукам, нет — душа вздохнула. Ни сомнений, ни страха. Все можем!

В тридцать шестом вызвали Манефу Владимировну на первое Всесоюзное совещание передовиков сельского хозяйства в Москву. Тут-то и услыхала из первых уст: «Труд в СССР есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» Как на крыльях домой летела! Шутка ли: орден Ленина на груди горит, а ферму — семьюстами рублями премировали! Патефон дали, весы десятичные.

Порадовались — и за дело. Молчим, работаем, думаем. Вдруг и говорит, как бы между прочим: «За своих поросят так никто премии не давал. Да и чудно было бы спрашивать. А тут: двор — колхозный, корма — колхозные. Сами, прах возьми, и то колхозные, — засмеялась. — А ты как думаешь?»

А как я думаю? Всему колхозу премия — вот как! Часть денег сразу в дело пошла: накупили ведер, лопат, корыт для фермы. А на остальные решили устроить угощенье колхозникам. Приурочили к дожинкам. В церкви, клуб в ней был, собрались. Булки белые на столах, сахару вдоволь — редкому не в диковинку. Где и народу взялось? Да не думайте, что на угощенье мы зря деньги на ветер выбросили. В тот вечер не только выпивали да закусывали, а больше мы о своей ферме и свиньях рассказывали. И прямо скажу, что с тех пор колхозники и на ферму, и на нас иначе смотреть стали.

На другой год послали земляки Манефу Владимировну своим депутатом в Верховный Совет СССР.

Признали-таки. То-то и дорого.

Дороже всего!

ДЕЛО СЛАВЫ

1. Принимаем М. И. Калинина

На Всесоюзную сельскохозяйственную выставку свиней отбирали мы тщательно, строго. Мыслимо ли: из Шейбухты — в Москву, без билета, с фермой. Лишь бы кого не возьмешь. В сороковом году, помню, на одиннадцати лошадях до пристани провожали. На одних повозках свиньи в садках, на других — корма. Погрузишь на баржу, из баржи — в вагоны. Долог путь до московских павильонов! Вся издергаешься. А у животных тоже нервы. Не сразу в себя приходят. Но вообще-то в Москве им не хуже жилось. Да и нам кое в чем полегче. Корма — по заявке, в любом виде, в любой расфасовке. Температура, вентиляция — оптимальные. Минеральные добавки, лечебные препараты — на любой вкус. Зоотехническая, ветеринарная служба — на высоте. Зато попробуй-ко целые дни на чужих глазах работать! Люди-то разные: иной в дело вникает, а иной нас, как диковинку, рассматривает. Ну, мы-то особо не тушевались. Неурочных посетителей не жаловали. Как дома себя чувствовали.

Кормление — всему основа. Вон один в Англии был — здоровый, упитанный, чуть не век прожил, а спросили, за счет чего, ухмыльнулся: «Я, — говорит, — ни разу в жизни к обеду не опоздал».

А тут: седьмой час утра, завтрак в разгаре — на тебе: ворота распахиваются, группа мужиков (ну, пускай мужчин — одеты-то хорошо) идет. Один проворный ворота распахнул да и в сторонку. А передо мной — ну, видывала же где-то! — этакий небольшой, в годах уж в хороших, очки слесарские, железные, бородка вроде кисти малярной, истертой. Я в проеме-то расшарашилась: «Что ты, милой, двери-то распахнул? Давай, давай, тебя ведь не выталкивать!»

Тут Манефа Владимировна подлетела, фукает на меня, оттирает: «Здравствуйте, гости дорогие, здравствуйте! Проходите, Михаил Иванович, пожалуйста!»

Вот так раз: сам президент с членами правительства!

Вот где видала-то: на фотографиях! А Манефа-та в лицо хорошо знала: вместе заседали в Кремле.

Стушевалась я немножко, а сама себе думаю: «Раненько встает «всесоюзный староста»! Могли бы и предупредить!»

Дальше — чин чином: провели, обсказали. Прощаться стал — руку подал. «Серьезный, — говорит, — народ в Вологде. Не страшно и Америку обгонять». И улыбнулся, да так хорошо! А я и до сих пор неловкость чувствую.

2. Рекорд! Еще рекорд!

Тридцатые годы! Дружные, молодые, азартные. «Утро красит нежным светом...» По всей стране слышно: «Даешь!»

Даешь Турксиб, Магнитку, Днепрогэс! Пятилетки — одна за другой — досрочно, как с горы, катятся!

В тридцать девятом мы дали тонну-опорос за три месяца двадцать семь дней! Втрое быстрее первого опыта. Вот это рекорд! А к слову сказать, и его побили сами же. Только попозднее, в тысяча девятьсот пятидесятом. От Июньки, матка такая была, под номером 856, первый помет из девятнадцати поросят достиг тысячекилограммового веса за три месяца и девятнадцать дней. А мясо-то! Не то что теперь в странах Общего рынка. Нашпигуют стимуляторами роста, а потом и взрослые-то травятся, не только дети. Наше — чистое, от земли да от великого прилежания.

Ну вот особо понервничали в сороковом году. Приехали в Москву, разместились.

Я еще на районном совещании у нас в Шуйском слово дала: получить за год от одной матки приплоду четыре тонны живого веса. В зале, слышу, шушукаются: загибает, мол. А я тетрадочку на трибуну да с цифрами: вот первый помет — девятнадцать штук, вот второй — семнадцать, третий, пускай, пятнадцать получу. Вот вес в месячном возрасте, вот за квартал, а вот — к концу года. Ну, как?

Согласились: пожалуй, выйдет. А одна и говорит:

— Еще бы: у нее все подсчитано дак...

Смех и грех!

С тем и поехала. В двенадцать ночи перед дорогой покормила. Два помета с собой, а третий уж там, на

выставке, принародно принимала. Да еще бегала белорусам помогать. Вот какая повитуха! Ну, я и не уставала. Мне и не хотелося устать никогда. Каждый день в радости: «экспонаты»-то мои знай похрюкивают да растут.

А один поросенок возьми да копыто и сбей! Беда. Ест-пьет по-прежнему, а сидя. Для развития движение нужно. Я к докторам. «Прирезать!» — говорят. Я, наверно, позеленела.

— Ну уж, — говорю, — нет уж, — говорю. — Режьте, — говорю, — своих пациентов, сколь угодно, а этого чтобы вылечить!

Заставила. Отходили. В зачет пошел.

На выставке все знали, что иду на рекорд. Каждую пятидневку поросят взвешивали. А они на весы, как ученые, шли. Как у Дурова. Цирк! По две-три штуки бегут коридорчиком, глаза красные, глупые, пустые. Это уж сок желудочный у них выделяется, гонит за лакомством после весов.

Киношники каждый день вертятся. Но снимают правдиво. Документальный фильм получился. Хороший. Хранится, наверно, в архивах ВДНХ.

А как «Свинарка и пастух» вышел, многие спрашивали, не с меня ли списали?

— Душа,— говорю,— моя, а остальное — наше.

Не знаю, угодила ли. Не специалист.

Грянул срок.

Народу в манеже — яблоку негде упасть. Я уж результат почти точно знаю, а все равно сердце дребезжит. У весов-то не кто-нибудь стоит, а Редькин Андрей Петрович, профессор, с ассистентами. В оба глаза смотрят, объявляют, записывают. Наконец, итог огласили: четыре тонны семьсот пятьдесят четыре килограмма семьсот граммов! Страшно вымолвить!

Редькин переспросил: «Правильно?»

— Правильно! — кричат. Многие считали.

Есть мировой рекорд!

Вечером нас чествовали. Завалили цветами. Вон их страсть какая на выставке!

Павлу Тимофеевичу Комарову, первому секретарю нашего обкома партии, оправдываться пришлось: «Ни от кого мы их не утаивали, не скрывали. Просто они у нас скромницы. До поры до времени — молчок!» Шутит, конечно.

Нам с Манефой Владимировной — по медали, колхозу — машина грузовая и Диплом первой степени.

Одна гора с плеч! Теперь бы домой скорей да за дело!

3. «А ты записался добровольцем?»

Как вспомнишь те годы, сердце сосет, сосет. Тревога охватит: все ли сделала? Не скрывалась ли за чужой спиной, не скривила ли в чем? Будто снова в душу глядит красноармеец с плаката: «А ты записался добровольцем?».

Отойдешь, поуспокоишься — вроде ладно, вроде полюдски прожито.

С началом войны наша задача изменилась. Кормить армию! Как можно больше продукции! Вот мы и старались, выращивали свиней на племя. В первом военном году сдали почти сто семь с половиной центнеров свинопродукции, в том числе больше восьмидесяти трех племенной. Сотни племенных свинок отправили в другие колхозы. Прифермский участок стал полностью нашей заботой. Пахали, сеяли, косили, возили — все почти сами. Сами и двор утепляли на зиму.

Учет по-прежнему строжайший вели. За один год — с 23 марта 1942 по 23 марта 1943 — от свиноматки Ялты номер 132 за три опороса получили пятьдесят поросят и от шести ее дочек — пятьдесят шесть поросят, всего сто шесть штук. Прежний рекорд побили. Общий живой вес их составил пять тысяч девяносто семь килограммов. Деловой выход от пяти свиноматок — по 26,8 поросенка при стопроцентной сохранности. А всего по ферме за 1943 год получено 487 поросят, по 24,3 головы на свиноматку. Особенно порадовала нас Июнька. С 23 марта 1943 года по 25 июня 1944 года она принесла сто двадцать восемь поросят. Сто восемь из них мы сдали наивысшим классом — «Элита» и первым.

Мои дорогие помощницы Короткова Лидия Николаевна и Аносова Анна Ивановна получили благодарности от обкома партии и облисполкома.

Одни ли мы так работали? Считай, весь народ, исключений мало было. В лесу, на сплаве, на полях живота не щадили. Трактористы — наполовину женщины, девчонки молодые. Все для армии, все для Победы!

Вещи теплые собирали, деньги, продукты, сдавали скот. На танковую колонну, на самолеты, в помощь освобожденным областям...А займы? Сколько их было! Последние отдавали, все, что могли.

Про меня, к примеру, говорили и писали, что от своего хозяйства сто килограммов мяса в фонд обороны сдала. Так-то оно вроде и так, да не совсем так. Нечего сдать-то было. А премию мне от колхоза дали, верно. Трех поросят. Кормить-то чем? Нечем! Вот опять на ферму и свела. Выходит, что так.

...На году троих в армию проводила. Мужа да двух сыновей. Легко ли? Старший, Константин, погиб за Невель Калининской области. Анатолий семь с половиной лет на Дальнем Востоке отстукал, Михаил — семь. По три года только младшие — Рафаил да Порфирий. А всего-то больше четверти века отслужили мои мужики.

И вот удивительно! Всю войну на прифермском участке, хоть и руки не всегда доходили, урожай рос отменный. Особо ячмень пер, на горе врагам. Зерно литое, тяжелое, как картечь. Александр Алексеевич, муж-то, как домой вернулся, первым делом сказал: «Ну, мати, от Берлина прошел (они лошадей по домам гнали) — нигде лучше твоего ячменя не видал».

Мир! Трудный, желанный.

Теперь-то уж заживем! И верно: тридцать пять лет в покое. Кое-кто забываться стал. Деньги, тряпки, кольца, машины. Ловчат, толкаются. Грубее народ стал. Почитайте-ко газеты, за любое число, кроме праздничных. Многие на грани совести живут. Закон не запрещает, совесть, видно, тоже. Кто сумеет, тот ухватит. В хорошей семье так не делается. Иначе, иначе в войну жили. И в скудости умели достоинство сохранить. Ну, и речь, конечно, о жизни шла, о Родине. Тоже понять надо.

В сорок шестом году мы с Коротковой Лидией Николаевной да с Аносовой Анной Ивановной (Манефа Владимировна оставила работу по болезни) получили Государственные премии, лауреатами стали. За войну, за хорошие показатели, за рекорды, за то, что сделали ферму племенной. Как подумаешь — верно: никто не указывал, никто не подгонял. Добровольно шли и делали сколько надо. Хорошо на душе было, чисто, надежно!

ДЕЛО ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА

1. Хозяйственным способом

Десять лет простоял свинарник, пять из них — военные годы. Не тот, конечно, догляд. Полы, углы, нижние венцы — все сопрело. Новый надо бы строить. А плотников-то своих нет. Подвернулись шабашники. Волчья бригада — так их тогда называли. Буйские ли, владимирские — не помню. Долготье на коротье переделывать мастера. Хороших разве отпустят на сторону да в ту-то пору? Ладно, приставили к ним старшим своего колхозника, мастера Худобина Алексея Романовича. Он все дело и повернул. А я — вроде толкача. Бригаду накормить, моху надрать, тес подвезти — каждой дыре затычка. Только за гвоздями раз пяток в Вологду огрела! А крыть чем? Соломой — позорно, дранкой — обидно, железом — нет его. А ферма-то знаменитая, племенная. Шифером, говорят, надо!

Ладно! Выпросилась в Москву, в министерстве своем наряд выбила на брянский завод, командировку оформила, села в поезд — качу.

Прикатила — пожалуйста:

— Вот вам шифер. Во что грузить прикажете?

Хоть стой, хоть падай! В подоле не унесешь. У них все вагоны расписаны, что под что. Завернулась да на той же ноге в Москву. К тому же чиновнику. Ну я ему сказала! Понял. В Калугу прилетела — без проволочки вагон выделили. Видно, звонил чиновник-то.

Снова в Брянск. Тридцать первое декабря. Вечер. В окнах елки. Метет. До завода добралась, говорят: «Если до двадцати четырех часов не погрузишь да не выпихнешь вагон за ворота — пиши пропало. В Новом году — новые фонды. Ваших нет!»

Ах ты, крючок без бородки — все дело сорвется! Ну, нет! Прибежала к грузчикам — работу кончают, посовестила, поговорила, сунула триста рублей — через час мой вагон выскочил!

Стою на ветру в потемках. До города километров четырнадцать. Вдруг такси. Уселась. Боюсь. Ни встречного-поперечного. Туда ли везет! Слышно было: пошаливают на дорогах-то. Нет, все ладно: к облисполкому доставил. В гостиницу уж пешком добралась. Мне бы чайку попить да поспать. Сижу в вестибюле, а передо мной администраторша с ноги на ногу колышется, как

расшива старинная на зыбях. Ничего у нее для меня нету: ни чаю, ни места, ни номера.

— Нельзя ли хоть кипятку достать да на стульях ночь скоротать? — говорю, а сама расстегиваюсь, платок на плечи спускаю да за гребенку берусь. Значки-то на груди и открылись: лауреатский да депутата Верховного Совета СССР.

Ну, вот и весь сказ: все у нее, оказывается, есть. Противно. Но я тогда, верно, устала. Не от работы — какая работа?! От бестолочи.

Теперь-то что: в силу вошли, опыта набрались. В каждом районе новостройки. Специализированные тресты, мехколонны.

В том же Междуречье возьми: два объекта строят две конторы — сельстрой да межколхозстрой.

Двое дорогу курочат, двое бензин жгут, двое порожние в город бегут. Может, в Междуречье-то одна бы организация справилась? А другая — в Соколе, например? Ручаюсь, в полтора раза дешевле бы было. А может, в пяти-шести районах навалиться всем миром? Сделать быстро да хорошо, чем во всех понемножку, медленно да плохо? А может. еше как по-хозяйски-то, а?

2. В гостях у Сталина

Невелико дело — по гостям ходить. Нашла чем хвастаться! Ну, во-первых, не много-то и находила, ни у кого порогов не обивала, а, во-вторых, и ходила — так не абы к кому. Да и случай-то был не из рядовых. В декабре сорок девятого Сталину Иосифу Виссарионовичу исполнилось семьдесят. Дата. Любого поздравить не грех.

Великой честью считаю, что была позвана. Конечно, и пришла не с пустыми руками. Мы на месте-то не застаивались. Год от году вперед шли. В сорок восьмом и к прифермскому участку отнеслись посерьезней: севооборот семипольный ввели. Особое внимание уделили поддержанию постоянной — двенадцать-пятнадцать градусов — температуры в свинарнике. При активной вентиляции.

Все это сказалось на продуктивности животных. По двадцать семь поросят от свиноматки получили. Тоже впервые в стране.

Так что попала я в компанию знаменитой костро-

мички П. А. Малининой. И рядом известные всей стране люди сидели: Евдокимова, Гунина из Ярославской, Ананьина из Ивановской областей. Вместе и жили в гостинице «Москва». Вместе и в президиуме торжества сидели. Всего семьдесят один человек. Так решило заседание старейших депутатов. Мы все стайкой позади и устроились, в затылок Мао Цзедуну с компанией... Знал, знал Иосиф Виссарионович, кого возле себя держать, на глазах!

Рядом с нами — немецкая делегация. Знаем, что за люди: коммунисты, единомышленники, а — немцы. Давно ли война кончилась?! Мы-то политики не ахти. Все время меж собой шушукались. Особо ворчала Малинина. Порывалась «по душам» потолковать.

За праздничным столом — двадцать один тост! Понятно, что губы мочили да салфетками промокали. Речи хорошие слушали: за дружбу народов, за мир, за коммунизм!

А перед глазами страна — холодная, голодная, великая.

Наскоком не возьмешь, а душа рвется. Да делать нечего: десять дней положено отгостить. Вот какая премия! Здорово нас за эти дни накачали! Другой всю жизнь в Москве проживет, а того не увидит. Театры, музеи, концерты, выставки — душа зрячей делается. И твоему стремлению предела нет!

...Молча ходили в Горках Ленинских. И на празднике это полезно: подумать и помолчать обо всем...

ВОТ ВАМ МОЙ ПОСОШОК

Не зря старики сказывали: век живи — век учись, терпенье и труд все перетрут.

Большое мы полюшко перешли. И взрастили на нем социализм полной чашей. На полюшке этом — пот и кровь нашего народа. Верится, что мы трудились недаром. Умнее ли вы нас? Не знаю. Добрее ли вы нас? Не знаю. Сильнее ли Родину любите? Доказать надо... Больше нашего вы знаете — это точно. Но работать так, как мы, вы не будете — тоже точно. Время другое. Возможности другие. Небывалые. А есть-пить все равно надо.

У земли хватит всего на всех. Стойте на ней прочно, работайте дружно, спорьте уважительно. Смотрите на

нее, как на мать родную, ласково, берите у нее экономно, отдавайте щедро!

На полях — не сравнимая с прежней техника, в животноводстве — не фермы, фабрики по производству молока и мяса. Соревнуйтесь за лучшее отношение к делу, за лучшую организацию работы, за честь рабочую соревнуйтесь. И в этом мы вам не худший пример. Да и опыт наш рано на полку класть. Комплексы — хорошо, а своя-та ферма любому предприятию не помешает. Подсобное хозяйство подсобное и есть!

Высших наград и званий удостоилась я. За что? За результаты? За мировые рекорды? По документам — дак так. А по душе — дак за отношение к делу, за рабочую честь. Еду вот недавно в троллейбусе. Компания в джинсах. А что: для работы вещь ноская. У нас раньше не было. Один потешает: «В совхоз, мне говорят, тебя завтра, в „Передовой"!» — «А я там, говорю, ничего не сеял», — хохочет, остроумец, а у самого пушок под носом, как у майской у вербушки.

Я и не удержалась: «Тебя самого, говорю, милой, может, там посеяли, да, видно, сорвали безо время. Поезжай, говорю, может, еще и привьешься. Это старой лесине не просто, а сырую вербушку — только ткни». Покраснел, запыхтел, а не огрызнулся — душевный, видать, кхе-хе. Беда с эдакими, право.

Сердце-то и болит: и меня-то там нету, да и этот не больно спешит.

Милые мои! Кончаю я вам свою байку. Вот я на кухоньке сижу, чаек попиваю, любуюсь на вас мысленно да думаю: «Старикам бы в городах-то жить! Дров — не надо, речка из крана течет, чай-сахар — по телефону заказывай».

Посошок свой верный в угол поставила: кому надо, берите. Вот он: терпенье и труд все перетрут. Безотказный. Любому послужит. Берите!

ПОБРАТИМЫ

(Рассказы разведчиков)

О ЧЕМ ДУМАТЬ НА ВОЙНЕ

Глухов с Базлеевым были призваны в Красную Армию в один день — 8 февраля 1942 года. К фронту подбирались долго. В кавалерии послужили под Ленингра-

дом, в противотанковой роте, потом попали в отдельную автоматную роту. И только в начале мая маршем отправились на фронт. В частях ждали наступления. По всему было видно: вот-вот...

— А не помнишь, Михаил Михайлович, что чувствовал перед первым боем? — спросил я Глухова.

— С Олешкой чего же почувствуешь? Одни смешки да хаханьки. Вот, помню, у немцев репродуктор на елке орет в нашу сторону. Зазывает нас, значит. Олешка подтолкнет политрука: слышишь? Тот заоглядывается, зашипит, а нам смешно.

...Он меня тоже спрашивал, как ты. Помню, построили нас, приказ о наступлении прочитали. Он мне кулаком в каску колотит, будто в квартиру стучит:

— Чего, Мишка, думаешь?

— А ничего не думаю.

— Молодец!

До чего с ним весело было!

А некоторые, видно, думали. Один у нас форсистый был. Так вот прямо в строю белые перчатки снял, бросил на землю и заплакал: «Теперь они мне больше не нужны...» А может, зря злились-то, может, он музыкант какой был?

...Ракета брызнула. Вся рота — сто два человека — поднялась. Командир Миша Ходяков, тамбовец, лейтенант,— впереди. Бежим без хитрости: «Ура-а!» Немец огнем сечет. Ребята только кувыркаются. Растерялись, легли. Я в канаве лежу. Вижу, Гришка Михайлов ползет, в голову ранен, но несильно: только зацепило кожу. Рукой мне махнул — ладонь вся в крови. Гляжу — мизинца нету...

Лежим с ним, ждем. Светает. Слева от нас Ходяков и Базлеев окопались. И нам к ним захотелось. Чуть дернулись — очередь. Страшней того Олешка хрипит: «Убирайсь! Не шевелись!»

Вскоре нас артиллеристы выручили. Остатки роты были отведены во второй эшелон. Чтобы подумать. Да не одним нам, солдатам...

В НАБЛЮДЕНИИ

У нас в разведку брали только добровольцев. Мы с Базлеевым тоже вызвались в эту особую группу воинов. Почему особую? Потому, что разведчик должен все

видеть и слышать, но быть невидимым и неслышимым, многое знать и в случае нужды все «забыть», даже имя и звание, быть строжайше дисциплинированным, изобретательным, легким на ходу. Риск и осторожность, чувство опасности и достоинство — все в нем, в разведчике.

— Однажды сидим, — хрипловатым голосом рассказывает Михаил Михайлович, — чай кипятим — Ходяков, Олеха и я. Истребитель немецкий летит. Наш костер чуть виден.

— Айда в землянку! — командует Ходяков.

Переждали. Олеха вылез, хохочет:

— Сволочь, чай пролил!

А в это время Бараев суп нес — тоже пролил, и из щеки осколок торчит.

Было от чего повзрослеть! У кого в характере нет твердости, сразу выявлялось. Помкомвзвода — замечали — трусоват. За одну ночь наступления весь побелел. И беречься стал очень. Землянку ему персональную вырыли под двумя елками. Лаз — как барсучья нора. Вот начал как-то немец мины покидывать. Помкомвзвода рванулся к землянке, да понял: не успеет в нору, распластался на земле, замер. А новая минка — шмяк! — около лаза и по песочку закатилась в него. Сплоховал, видно, немецкий третий номер, не свинтил колпачок. Вот и не взорвалась, но предупредила: не ищи, мол, отдельной судьбы!

Разведка, если позволяли условия, готовилась тщательно. Бывало, по три дня наблюдали за передним краем врага. Однажды пришлось ползти в наблюдение вдвоем с одним биноклем. Вот ползем. Дело утром, светло. Впереди широкий куст ивняка.

— Давай вправо! — шепчет Базлеев мне.

Обогнули, сползаемся. Между нами кто-то лежит. Оба на него смотрим: шинель наша, ботинки, обмотки, за обмотку ложка заткнута. Жив? И чувствую, как тошнота подступает: головы-то у него нет.

Олеха первый опомнился и опять на свое перевел:

— Во русский человек! Головы нет, а ложку не бросил!

От этих слов и я в чувство вернулся. Но не оглядывался. Заставил себя забыть о нем на время.

Все внимание на задачу пошло. Наблюдаем. Ничего особенного не происходит. Только жарко: июнь. Немец-

связист катушку тащит. Старшему моему, видно, тоже надоело томиться.

— Мишка, давай схватим! — он всегда был решительный.

— Молчи,— говорю,— не ори, обед у них. Рядом котелки брякают.

Вечером вернулись, доложили, что видели.

ЗА ЧТО ДАЮТ ОРДЕНА

И стали мы настоящие разведчики. Базлеева в дивизионную разведку зачислили, меня — в полковую. 18 июня 1942 года пришел строжайший приказ: взять «языка». Нашей группе парня незнакомого придали. Поглядываем: каков? Высокий, красивый, резкий такой. Потом-то я понял: это нас ему придали. Развитой, удалой оказался, лучше нас — так и сказать.

Поползли. Правило такое: касаться пятки впереди ползущего. Парень первый, я за ним, за мной Аложков, Щепелин — оба сокольские. У нас лимонки, штук по десять, ППШ. Щепелин только кустиком шевельнул — хлестнул пулемет. Чуть не в упор. Пламя как из паяльной лампы. И Аложков мою пятку выпустил — тоже готов. Парень-то головой в дерево уткнулся, лежа гранаты кидает. Шесть штук бросил — пулемет бьет. Мне и руку не вызнять — остригнет. Подкатываю лимонки ему. Тут и около меня граната упала. Чувствую — нет ноги.

— Ногу оторвало,— хриплю, а сам последнюю гранату подкатываю.

— Разворачивайся, ползи!

Я только начал раскантовываться — осколок и разрывная пуля по коленке. Но гранатка моя помогла. Пулемет замолк.

Парень вскочил: «Держись за мой автомат! Только крепче!» — и во весь рост в свои окопы. Волоком меня и тащил.

Вот это человек! Встретить бы сейчас, я бы ему свою Славу 3-й степени прикрепил!

КАК ОТОГНАТЬ СМЕРТЬ

Вытащил он меня к своим. А там откуда ни возьмись Базлеев. Видно, раньше пришли. Помню, штаны с меня сняли, бинты достают... А немец минами начал

забрасывать. Одна бруствер разворотила. Оглушило, засыпало. В сознание пришел на рассвете. Лежу один, голый, мокрый. Базлеев с ребятами вернулись, перевязали, понесли. Через реку вброд пришлось. Выкупали. А дальше — в санбат...

По дороге гнойный процесс начался. Креплюсь, не мычу. На какой-то остановке подходит старичок и жалостно пальцем на меня показывает:

— Этот паренек дак умрет.

Я и сам знаю, что худо, но категорически, по-нашему, говорю ему, что не умру.

— Как-как говоришь, Михаил Михайлович? — это уж я его спрашиваю.

— Категорически, а повторять не буду, — смеется Глухов. — Так вот на эти мои слова старичок вежливо плюнул и отошел. А я — будто смерть отогнал. Долга еще была песня, а настроение в гору пошло. Ногу ампутировали в Боровичах всю, а в левой четыре осколка остались. Недавно жена один плоскогубцами вытащила. От гранаты. Весь в завитулинках. А доктор Шитов весной восемьдесят третьего года из руки вынул штук пять осколочков костяных. Понял? А я и раны этой не знал. Просто рука заныла-заныла — пришлось в больницу. Эдак дело пойдет — совсем когда-нибудь вылечат! Бессмертный буду. Добро!

КАК БЕРЕЧЬ ЕДИНСТВЕННУЮ НОГУ

Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Крепко писал Маяковский! Только пока я не встретился с Глуховым, не понимал, как это солдат «бережет свою единственную ногу».

Через полгода после ранения, 17 января 1943 года, Глухова выписали из госпиталя. Пришел домой — шинель да костыль. Мать одна. Отец умер в тот день, когда Михаила ранило. Случайное совпадение — много было таких случайностей. Надо жить, надо работать. У матери кожа была куплена. «Буду сапоги шить», —

думает Михаил. А матери жалко добро портить. «Поучиться бы, — говорит, — надо!» А где переупрямить? Первые ей и сшил, вторые — сестре, одни продал — костюм купил. Уверенность появилась. Летом косить стал учиться заново. С корзинку, с две накашивал, с копну, а потом разошелся да девять копен в один день! Воз! Сосед подошел, усомнился, но Глухов ему сказал:

— След-от видишь?

По каждому прокосу костылем была полоса прочерчена. Мужик! Кормилец!

С сорок шестого заказов на сапоги не стало. Голод. На валенки перешел: зиму-то не обманешь. Екатерина Михайловна, жена, стала хорошей помощницей. А начали с того, что лучок не тем концом повесили, а решетке и места нет. Ничего, приноровились, да этим и семью подняли.

Михаил Михайлович признается, что первые валенки неровные были. «Шерсти, — говорит, — не понимал». Трудные были годы. Пища — крапива, ягель, клевер, отруби. Имущество — одна фуфайка на двоих да деревянная бадья. А дисциплина, строгость — теперь и сравнить не с чем!

Вызывает его однажды начальник артели инвалидов к себе в Шуйское — это четырнадцать километров костылять.

— За что катаешь? — спрашивает.

За все катать приходилось: за дрова, за хлеб, за шерсть, за молоко, за сено.

— Почему без квитанции?

— Как без квитанции?

Выяснилось, что не донес уполномоченный до кассы артели те шестьсот рублей, которые послал с ним Глухов, пропил. Ну, не стали гробить человека: засчитали в уплату его хромовые сапоги, которые были в ремонте в мастерской.

Пошла по району добрая слава про мастера Глухова. От заказов отбою нет: многие хотели пофорсить в валенках его работы.

Дети Глухова сызмала к труду приставлялись: шерсть щипать да смотреть за меньшими.

Как только скопилось немного денег, купили новые ведра, и вышел Глухов на крыльцо и расхлестнул старую бадью об угол.

Я видывал его в работе в домашней мастерской:

жар, пар, в котле валенки «варятся», в сухом теле ни жиринки, мышцы, как камешки-голяши, под кожей катаются...

Сейчас мы сидим в светлой горнице на втором этаже его просторного дома. Екатерина Михайловна разливает чай.

Дочь Нина забежала на минутку по делу. Все дети разлетелись по стране, только она и живет рядом с родителями. Внучек заскочил похвастать грибами: на час вывернулся, и вот — корзина.

Лад, покой и уют душевный!

Екатерина Михайловна вспоминает годы крестьянских забот: «Лошадка — во! Плуг настроен — ручки держать не надо. Красота! Домой идти неохота. По восьмидесяти соток пахивала».

Достаток уже давно прижился в ладном доме Глуховых.

Недавно они покрасили дом. Одной краски шестьдесят банок ушло. Добрые люди пройдут ли, проедут — залюбуются.

Однажды сосед Глухова по больничной палате, дородный, из бывших руководителей, спросил его:

— Ты сколько зарабатываешь?

— А встань с кровати, сколько на одной ноге простоишь?

Не лезет в карман за словом Глухов.

Но дородный не унимался:

— Во мне сто с гаком, в тебе — пятьдесят. Да и спортсмен ты, велосипедист.

— Вот и вожу пятьдесят на одной, а ты свои сто на двух повози попробуй.

Любит Глухов велосипед. И часто предпочитает его своему «Запорожцу». Летом и зимой поглядишь — катит: костыль вдоль рамы, на левой педали — противовес. Вся жизнь Глухова — сплошное упрямство. В ней и ответ на все заданные и незаданные Глухову вопросы.

— По восемнадцати часиков не присаживался. На женские валенки сколько времени нужно? Часов двадцать. Из них сидя сколько можно? Часа три, только пока сращиваю. Вот и сосчитай мой заработок, — говорит он мне.

Не менее пяти тонн шерсти перекатал Глухов. Что добавить? Наверно, только так и можно было сберечь

и единственную ногу, и честь, и достоинство, и семью, и жизнь.

ЖДЕМ ГЛУХОВА

На другой день иду я вместе с фотокорреспондентом Володей Нужиным к Базлееву. Алексей Евгеньевич у своего дома. Крышу он докрыл, теперь оценивает работу.

Здороваемся. Ладонь у него жесткая, пошире и потолще моей. Существенная такая ладонь! Ждем Глухова. Вот-вот должен подъехать.

— У, смелый он человек! И озорной. Пошли раз в наблюдение, а за кустом наш солдат без головы лежит, ложка в обмотку заткнута. «Во, — говорит, — русский человек: головы нет, а ложку не бросил». Вечером его вытащили.

Я усмехаюсь невольно: забыли, черти, кто что говорил. Ну, неважно. Зато живут душа в душу. Сено, дрова, мед ли, валенки — чем богат, тем и рад один другому. Другой раз и «на каменку плеснуть», и совет добрый подать, и просто издали переглянуться: порядок!

Три уж года Базлеев на пенсии. Но без работы — ни часу. В прошлом году от своих двух коров сдал пять тонн молока государству. За такое радение райпотребсоюз продал ему ручную бензокосилку. Так что корма опять в достатке, с лесных полян, не травленных химией.

С войны он вернулся осенью сорок пятого. Был приказ: демобилизовать тех, у кого больше трех ранений. У Базлеева было четыре.

Дома семья большая, карточки. Отец договор заключил с колхозом имени Чапаева рубить лес для района. По два килограмма зерна за кубометр. Кроме хлеба, премию заработали: ботинки и две рубашки каждому.

В сорок шестом Базлеев женился. Но через шесть лет жена умерла. Навсегда вошла печаль в сердце Базлеева. Вот уже и внуки взрослые.

— Один дак двухметровый, — улыбается Алексей Евгеньевич. — Это химия их в рост гонит. Во всем она: в хлебе, молоке, мясе, фруктах-овощах. Мы-то на здоровой пище закрепли. Смолоду.

Около пожарки щелкнула дверка машины. Вскоре подошел Глухов. Поздоровались они с Базлеевым с сухой нежностью.

Кратковременный по сводке дождь закапал сильнее. Мы пошли в дом.

ЧТО ТАКОЕ «ГУТ»?

— Мы тебя на палатке выносили. А через Волхов — по настилу на лошадях. Стонал сильно, — рассказывал Базлеев Глухову.

— Еще бы: на каждом бревнышке кости об осколок скребли.

— А меня тоже после первого ранения землячок на полуторке вывозил в тыл, Журавлев из Шиченьги. Он после войны в мастерских лесопункта работал.

— Ну, я из-за недосмотра своего пострадал. Наблюдали, наблюдали, а лобового пулемета не засекли. Это ведь рядом, какие-то десятки метров до врага.

— Бывало, сидишь, все тихо, — продолжал Глухов.— Вдруг голос:

— Рус, махорку получал?

— Получал!

— От мины прикуривать будешь?

И ведь не соврут. Но мы тоже не лыком шиты:

— Фриц, песни любишь?

— Я, я!

— Сядь поудобнее, сейчас «катюша» споет!

— Знаешь, что всего хуже на войне? — это Базлеев ко мне обращается.

— Спать никогда не давали, — сразу отвечает Глухов.

— Во, во! По трое суток наблюдали. День и ночь. Худо разведчикам в обороне. Кажется, кто на тебя ни глянет, чуть ли не кричит: «Языка!»

Один раз за часовым охотились. У них дзот на сопке, от него окоп к реке. Нас шестеро было. Всем бросаться нельзя, вдруг удерет. Трое отрезали ему дорогу, трое — на него. Тоже, вишь, все надо планово, — с хитринкой улыбается Базлеев. — На товарища надеешься, как на себя. Бросок — метров с двадцати...

— Видал, как кошка мышей ловит? — добавил Глухов.

Ну, это-то уж больно, думаю, просто.

— Часовой здоровый был. Но сдался сразу. Австрияк. Эти сразу голосуют. Кровные арийцы — ого, просто не возьмешь! Один раз подползли, тихо, хорошо. Я одного по каске, он так и сел. В землянке услышали. Я туда гранату. А немца не можем этого обратать. Вдруг — взрыв. Двое из наших кричат: «Леха, ранило!» — «Отползайте!» Я пулемет схватил за пламегаситель, часового друг прикончил ножом, бегу, а сзади лента пулеметная тащится. Спасибо, пехота наша помогла. Раненых вынесли. Генерал после доклада недовольно сказал:

— Правильно, Базлеев!

Но часы-таки подарил. Именные, кировские.

Да... А этот, австрияк, хорошо пошел. Мы его сразу в реку. Водой сплавили. Без выстрела.

На сухое место вытащили, он и спрашивает:

— Камрад, пук? — и указательным пальцем в висок показывает. «Нашел приятеля!» — думаю.

— Нет, — говорю, — работать будешь. Арбайтен!

— Гут, гут! — боится поверить, но повеселел.

Я и сам знаю, что «гут»: отпуск за него полагался, только не знал тогда, что двадцать суток дадут.

Идем мокрые, светает. У нашего комбата старик-часовой у землянки. Спит. Винтовка меж ног. Вот пленного-то брать!

Я ему пистолет под нос и шепотом:

— Хенде хох!

Алексей Евгеньевич и сейчас шепотом изображает:

— Что спишь-то? И комбата утащат... Не бойся, не доложу.

А шепот у Базлеева и сейчас такой проникновенный, что тот часовой, если жив, наверно, до сих пор во сне вздрагивает и шарит винтовку между ног.

...Чистая была та операция. Даже без поддерживающей группы. И все участники ее получили медали «За отвагу».

ЧТО СОЛДАТУ ПО ДУШЕ

По душе солдату порядок. С кем ни поговоришь — все на этом сходятся и ругают неразбериху. И не только на войне, но и в мирные дни любого руководителя в первую очередь ценят за организацию дела. Всегда и всюду подтверждается ленинская мысль о том, что

рабочий человек не боится дисциплины, организации. В ней он обретает силу.

Старые разведчики вспоминали много эпизодов, когда люди гибли из-за малейшего нарушения дисциплины.

— Заметили нашу группу однажды, — говорит Базлеев. — Укрылись в землянке. Немец бьет. А солдат Вальков уполз, чтобы снять вещмешок с убитого. Ночью по одному выползали — пришлось и Валькова тащить, только мертвого.

— У нас тоже Сашка Барабанов с Паршеньги вздумал пострелять, голову высунул — хлоп, все ... — добавляет Глухов.

Одного солдата спас от расстрела простой русский валенок. Солдат нарочно подставил ногу под машину, а валенок-то покрепче натурой оказался, выдержал. Так Валенком и прозвали солдата.

С восторгом рассказывает Базлеев о полковнике Козинове, ленинградце. Ему приказали вывести попавший в окружение полк в район Псков — Луга. Он на иссеченном пулями «У-2» приземлился в расположении полка, соединился с партизанами, разведчиков через линию обороны выслал.

— Во дисциплину сделал! А солдат уважал. Мы к нему два раза ходили группой по пятнадцать человек. Мины носили батальонные. По две штуки в тряпки завернешь — и пошел... Полк он вывел. После Герой Советского Союза генерал-майор Козинов командовал 256-й Нарвской Краснознаменной дивизией.

— ...Из нашей семьи воевало уже четверо, вру: Николай уж был убит, — продолжал рассказ Базлеев. — Да и отец, под Сталинградом раненный, лежал в госпитале в Тюмени. Брат Владимир в Карелии воевал. И вдруг получаю от младшего, от Сереги, письмо: «Хочу добровольно на фронт, отомстить за отца, за брата Николая». Попал он на Дальний Восток.

А я железную дорогу держу у деревни Мелковичи. Деревни, конечно, нет, одна церковь разбитая осталась. Нас мало, их — рота идет. Рисковый момент! Да чтобы нас!.. Врукопашную выскочили. Четверых в плен взяли. А у нас убили Володю Кобзева. Ранцы, фляги обрезали с убитых, подкрепились, сидим. Утром — мать честная! — три танка с десантом на нас прут. Подбить нечем.

Решаем отходить до противотанкового рва. Мины посыпались. Двоих ранило. Отошли в лес. Вдруг батько на танке едет:

— Видите железную дорогу? Чтобы не оседлал немец!

— Есть! — с ним много не поговоришь.

Окопались как следует. ПТР нам привезли — добро, питание приехало — тоже ладно.

...Не пропустили. Соседи помогли. Сорокапятки у них были. Хорошо били!

Когда передавали об этом бое по Центральному радио, отец в госпитале услышал свою фамилию и с кровати упал! Едва сестричка уговорила, что жив я, что второй медалью «За отвагу» награжден.

Вот как бывает: в тебя бьют — все мимо, а невзначай... Только в Нарву ворвались, улицу перебегаю — снаряд в стену, а осколок — в голову, беспамятство... Куда-то привезли, смотрю — Вологда. Положили в госпиталь, на Маяковского, 6, где пединститут был.

Как поправился, к отцу пришел. Он уже конюхом служил в Красных казармах. Говорю ему, что домой выписали, он от радости заплакал.

Иду по городу — навстречу Николай Михайлович Бокач, наш комвзвода. В отпуске. Родом из Улан-Удэ, туда-сюда разве обернешься? Вот и решил в Междуречье, в Макарово, к родным Михаила Олунина, выполнить его предсмертный наказ. Михаилу все внутри осколок порвал.

Я Бокачу: поеду с тобой на фронт и все. Он разве против? И начальство военное уговорили. Вот это порядок!

А к Олуниным съездили... Как после этого мог я дома сидеть?

...Успели в Курляндию. На дожимание. Мощная группировка немецких войск была к морю прижата. Знаешь, как у борцов: один уж кверху брюхом, на шее — на пятках держится, а еще могуч. Только оплошай! Мы не оплошали. Дожали.

Я орден Славы 3-й степени получил, а Бокача тяжело ранило. Обе ноги перебило.

— Досталось вам! — сочувственно проговорил Михаил Михайлович.

— Ой-ой...

— Вот, мужики, давно я вас знаю, а ни разу с орденами-медалями не видывал. Почему?

— Ну-у, — протянул Базлеев, и по тону выходило: ишь чего захотел! Дак зачем? Вроде неудобно. Дело-то прошлое.

Я не стал спорить: многолетняя привычка, природная скромность... Да мало ли что.

— А иногда не мешало бы, — как-то виновато проговорил Глухов. — Раз на автовокзале подошел за билетом без очереди. Человек пять и стояло-то. И вот одна девушка, комсомолка наверно (значки-то они теперь редко носят), давай меня честить. Я говорю: «Милая, сорок один год на одной битой ноге хожу, мозоль замучила, стоять невмочь».

— И что?

— А откуда она знает, что мне вроде положено без очереди? — начал раздражаться Глухов. — В школе ей, может, не сказали, дома не успели, пока-то сама поймет...

— Пока поймет, новые вырастут, которым объяснять надо, — сказал Володя Нужин, так же, как и я, внимательно слушавший рассказы старых разведчиков.

Я невольно подумал: висят в музеях портреты великих героев, смотрят с бесчисленных стендов хорошие, но ставшие иконными люди, и ходят среди нас знакомые неизвестные герои, и нередко мы задеваем их и плечом, и взглядом...

Время подкатило к полудню. Солнышко выглянуло из-за облаков. Володя оживился. Вышли на улицу. Алексей Евгеньевич стряхнул воду с пленки, которой была укрыта косилка.

— Мешанина-то помнишь? — вдруг спросил Базлеев.

— А-а... Помню. Век не забыть.

И Глухов рассказал маленькую историйку. В один из послевоенных годов надоело ему вручную на жерновах зерно молоть. Неловко было. Добро бы о двух ногах. А тут одной точки опоры никак не хватает. Вот и придумал ветрячок. На крыше крылья водрузил, к жерновам передачу веревочную протянул. Примитивно, да лиха беда начало... С килограмм зерна смолол, милиционер тут как тут:

— Складывай крылья, иначе штраф триста рублей!

— Нда-с, — крякнул Володя.

И каждый из нас, наверно, подумал: тогда бы косилочки-то, а не штраф. Хотя и сейчас не поздно...

А Володя уже зовет, на солнышко показывает: уйдет.

Встали под яблоню. Глухов Базлееву яблоко протягивает, а тот уже напрягся, серьезен, не до яблока. Так и вышли, как в столбняке.

...Сейчас снова смотрю на их фото. И снова слышу ответ на свой последний вопрос:

— Что, по-вашему, главное в жизни?

— Как что? — сразу встрепенулся Базлеев. — Люби семью, отца, мать...

— Родину-мать, — добавил Глухов.

— Все и будет, как надо, — закончил Базлеев.

— Да, — сказал Глухов.

ДЕВЯТИЛОВ, ВПЕРЕД!

Николай Александрович Каберов, работник междуреченской газеты, рассказывает: «Первый раз я попал в колхоз «Память Ленина» давно, по случаю какого-то собрания. Мороз — бревна трещат. Люди сидят, ежатся, дышат в воротники, валенком о валенок поколачивают. Мне со сцены все видно. Вдруг заходит мужичок, осанистый, сел в первый ряд и ноги вытянул. Собрание идет, мужичок сидит. Я еле карандаш держу, ног совсем не чувствую, а он в резиновых сапогах — и хоть что! Наклонился к предрику, киваю: «Он что, совсем не мерзнет?» Тот усмехнулся: «Совсем. Давно уж. Молчи!» И тут я начал догадываться...»

* * *

О войне Колька Девятилов услышал, когда к покосникам в урочище Княгинино нарочный прибежал, чтобы вручить повестки Алексею Монзикову и Василию Логинову. Заспешили домой. По воде долго — двадцать верст. Рванули прямо, через болото. Тут всего семь.

Дома проводы. Бабы плачут, гармони рыдают, пароход гудит: «Жду-у!» Колька тоже гармонь схватил, понизовскую наяривает, запевает, ребята подхватывают:

Наденем серые котомочки,
Пойдем из деревень.

Весь колхоз валит к пристани. Богатый был колхоз. До трех килограммов хлеба на трудодень приходилось, не говоря об овощах. А еще только жить начали сообща-то. С тридцать второго года. У отца Девятилова была до колхоза одна лошадь, одна корова, ну, сбруя, плуг — бедновато. А тут, в колхозе, — и богаче, и веселей.

...И пошли мужики на войну! Только из Малой Ихалицы двадцать человек друг за другом. Навсегда ушли Емелины, Морозенковы, четверо Приемышевых, четверо Логиновых... Шестнадцать из двадцати...

А Колька в октябре отправился рыть окопы. Через сорок два года Н. Н. Девятилов снова побывает в этих местах, в санатории «Новый источник». Потешит свой остеохондроз, начинавшийся, может быть, в здешних непригодившихся окопах.

* * *

К Девятиловым ведет меня Петр Носков, приятель Девятиловых-младших, по-сыновьи уважающий старшего. Лидии Николаевны, хозяйки, дома нет. Николай Николаевич сумерничает один.

— Николай Николаевич, чаем напоишь? — задорно кричит Петр.

— Напою. Да ведь не станешь пить-то.

— Стану!

— Чай-то?

И оба хохочут. Хозяин с дивана видит в зеркале, что у Петра за спиной еще кто-то стоит, и Петр просто выигрывает время. Приходится мне раскрывать карты. Тщетно. Разговорить Девятилова не удается. На гармошке? Да, пиликал. Частушек не помнит, драк — не было, работали — много.

Пришла хозяйка.

— Лидия Николаевна, а как вы познакомились?

— Тридцать седьмой год живем, дак... познакомились.

Смех и грех!

И вдруг добавляет:

— Теперь бы ни за что не полюбила.

По голосу слышу, что лукавит. Вот оно! Заговорила душа! И выяснилось наконец, что и любовь была у колхозного конюха и молоденькой лаборантки с Кожухов-

ского маслозавода, и скамейка под березой на сухонском берегу, и гармонь пела, и частушки сыпались, и дети в свой срок рождались.

Старший, Александр, — известный мелиоратор, живет теперь в Литеге Сокольского района. Коммунист.

— Мы его в своем колхозе в партию принимали, — говорит Николай Николаевич.

— А какие вопросы задавали? — хочу я узнать, о чем спрашивал отец сына.

— Чего много спрашивать-то? Так видно. Он из армии кандидатом пришел.

— Вот как? Понятно.

Валентин, второй сын, тоже в совхозе, механизатор, а дочери Галина и Людмила поблизости, в Шуйском, живут. Семь внуков у Девятиловых-старших.

Но годы идут. И силы тают. Девятиловы просят у райисполкома благоустроенную квартиру. Дрова, вода, баня — все это уже не просто. Вот и отгадка настороженности к новому человеку: не по их ли заботам пришел? Нам ведь часто кажется, что всем есть дело до наших нужд.

И верно. Заместитель председателя райисполкома Г. В. Рогозин сказал мне, что райисполком озабочен положением Девятиловых и к сорокалетию Победы их проблемы непременно разрешит.

Я сказал им об этом, разумеется, с позволения Геннадия Васильевича. Партийный призыв «Никто не забыт, ничто не забыто» должен воплощаться в жизнь в любом случае.

* * *

... — Осенью пятьдесят третьего года требуют вдруг в военкомат повесткой форменной, — продолжает рассказ Николай Николаевич. — Ну, сел я на белого коня, оглянулся. Лужи блестят, домашние стоят машут, кто-то фотоаппаратом щелкнул. Видишь, какой генерал? — тычет он в фотокарточку. — Дорога — не ближний свет. По хлябям по кожуховским.

Зачем зовут? Ругать — снят с учета, хвалить — за что? Еду-еду, не свищу, думаю. Раз зовут, значит, что-то такое было. Что? Призван 12 августа 1942 года. Военную науку прошел в Красных казармах в Вологде.

Младший сержант. На «практику» попал под Калинин. Везли долго. Явились — его уж берут. Чуть не опоздали.

Потом автоматчик второй роты 91-й стрелковой дивизии. Бой за Чернушки. Матросов амбразуру собой закрыл, а мне и делать ничего особенного не надо было. Лежал, бежал, стрелял, как все. О Саше мы после узнали.

...Вот еду, живой на живом, на елочки смотрю, что в прошлом — помню, что в будущем — не ведаю. А у него, у Матросова? Ничего уже нет и не будет? Но ни одного человека в стране не найти, кто бы не знал о нем. Значит, живет он? В нас? И совесть тревожит: а я бы смог?

Понимаешь, бывают такие моменты... Хуже всего, когда от тебя ничего не зависит. Сидел у связи. В мае это было. Телефон у комбата. Налет. Пятерых — насмерть, четверых достали. Меня два месяца лечили, а и до сих пор недослышу. Или вот у деревни Тараканово. Только бы воевать, а она в ногу — тюк! Опять неделю хромай!

Еще чище — под Холмом. За «языком» на Октябрьские ходил. Взяли. Возвращаемся перед светом. А она, дура усатая, того и ждет. Двое убиты, один ранен. Всем — ордена, мне — Красной Звезды. За что вот награды дают?

Так и воюю. Опять февраль. Высотка. Не помню названия. Мы из лесу выступили. До нее — метров четыреста, перед ней — речка. Я уже ординарцем у комроты капитана Догадина. Хороший мужик! Никогда не ругивался, все хлопцами звал... Хлопцы легли. Снег сырой. Пули норы роют. Иной вздрогнет — и уронит лицо. Поднимать ребят надо. Молодые все хлопцы. Да и я не старик — двадцатый год. Только и разницы, что всяким оружием мечен.

Вижу, капитан приподнимается и на меня глядит: «Девятилов, вперед!» — одному мне слышно.

— Страшно было? — не вытерпел я.

— Неловко как-то. Сначала. А потом — человек я! Человек! Я могу! Презираю! Бегу, кричу. Ребята рядом. И вдруг! Ноги отстали. Лечу...

Домой вернулся из Азии, из Семипалатинска. Все еще двадцати нет. Ну, делать нечего. Снова надо плясать учиться...

— А ходить-то умел?

— Немного. Поневоле пойдешь, когда плясать охота. Что в голове-то? У тебя чего было в двадцать годов?

Я вспоминаю. Верно, надо плясать!

— Куда инвалиду? Прямой путь — в сапожники, — продолжает Девятилов. — Мастерская была в Ихалице. Два года работал. Мастером стал. Но ликвидировали мастерскую. Стал конюхом. До двадцати лошадей бывало на конюшне. А летом все работы делал.

— А что нравилось?

— На косилке на конной. Здорово! Плывешь по наволоку — все зори кнутом ошибешь. Пароходы идут — палуба выше берегов. «Леваневский» завидит: «у-у-у!»— говорит. Узнает, приятель. На войну меня увозил. И место мое вон, у трубы...

В шестьдесят пятом, в июне, приехал ко мне Беляков, председатель. Знаю, зачем, молчу. У меня уж дышло на дуге, лошади на ночь навязаны, все проверено, смазано, ножи выточены. Все равно на косилке, кроме меня, некому. Народ-то уж начал хорошо убывать...

— Девятилов!

Все обговорено раньше, но он из комиссаров, до всего ему есть дело и время.

— А?

— Завтра начинаем. Лошадей — любых, точило крутить пацаны будут, ляг пораньше — и вперед!

— Ну, а ты? — спрашиваю я.

— Понимаешь, бывают такие моменты... Встал пораньше — и вперед! Сто пятьдесят гектаров скосил на силос и на сено. Опять орден дали, «Знак Почета», в следующем году.

...Да, человек без обеих ног, на протезах, сделал то, что посильно далеко не каждому здоровому. Геройски воевал, чтобы геройски работать.

И совсем не случайно, что Девятилов был участником одной из первых конференций сторонников мира в нашей области.

* * *

— Николай Николаевич, а в военкомат-то ты доехал в пятьдесят третьем году?

— Как же, как же. На белом коне. «Награда нашла

героя», — написали потом в газете. Орден Славы 3-й степени. Мне на фронте еще говорили, что представлен, да до того ли было? Это за ту высотку, до которой не добежал. Не помню названия, но была...

Он стискивает зубы.

И я воочию вижу, как правильно живет этот человек, с боевой юности мысленно повторяя тихий приказ комроты, давно ставший его внутренней сутью: «Девятилов, вперед!»

И он идет.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Назови ее Росиной! 3
Серый камень 14
Сочинение 27
Волосенок 38
История разбитой чернильницы 41
Труба 47
Обида 60
Опять повезло 66

Очерки

Как перейти поле 71
Побратимы 90
Девятилов, вперед! 103

Мануил Алексеевич Свистунов

КАК ПЕРЕЙТИ ПОЛЕ

Рассказы, очерки

Рецензенты **Н. А. Журавлев, В. Л. Шириков**
Редактор **А. А. Иванов**
Художник **Р. Климов**
Художественный редактор **Д. А. Трубин**
Технический редактор **Н. Б. Буйновская**
Корректор **В. А. Фокина**

ИБ № 736

Сдано в набор 21.05.86 г. Подписано в печать 6.08.86 г. ГЕ05418. Форм. бум. $84\times108/_{32}$ (бум. офс. 70 г). Гарнитура «Литературная». Высокая печать. Усл. печ. л. 5,88. Усл. кр.-отт. 5,932. Уч.-изд. л. 5,803. Тираж 10000. Заказ 4560. Цена 35 коп.

Северо-Западное книжное издательство,
Вологодское отделение, 160000, Вологда, Урицкого, 2.
Областная типография, 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

В 1986 году
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ВЫШЛО:

НАЙТИ СЕБЯ.
Сборник рассказов

В сборнике представлено творчество молодых авторов Архангельской и Вологодской областей Александра Цыганова, Николая Редькина, Геннадия Аксенова, Анатолия Ярославцева, Ирины Косопаловой, Владимира Казакова и Николая Толстикова. Всех их объединяет стремление правдиво отобразить в своих произведениях многообразную жизнь наших современников.

МАНУИЛ СВИСТУНОВ

Родился в 1937 году в д. Лаврентьево Вологодской области. Окончил Вологодский пединститут, работал учителем, журналистом. В настоящее время заведующий отделением Северо-Западного книжного издательства. Публиковал очерки и рассказы в журнале «Север», коллективных сборниках «От земли», «Долги наши».

Первую его книгу «Как перейти поле» составили очерки и рассказы о героях Великой Отечественной войны и труда, о повседневных делах и заботах тружеников Нечерноземья, о нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения.